

Литературно-художественное издание

Иные берега

Vieraat Rannat

2 (21) 2016

Журнал Объединения русскоязычных
литераторов Финляндии

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden lehti

Хельсинки 2016
Helsinki 2016

Главный редактор – Ольга Пуссинен

Päätoimittaja – Olga Pussinen

Редакционная коллегия – Л. Корниенко, М. Крошнева

Toimitusneuvosto – L. Kornienko, M. Kroschneva

Корректура – О. Пуссинен

Korrehtuuri – O. Pussinen

Компьютерная верстка – Юлия Пярнянен

Tietokoneenmuotoilu – Julia Pärnänen

Журнал выходит два раза в год, весной и осенью.

Aikakauslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Подписка на журнал принимается по электронной почте:

Lehti tilaus e-mail:

inyeberega@gmail.com

Информация о журнале расположена на сайте:

Tiedonanto lehdestä:

<http://inyeberega.org>

Тексты для публикации принимаются по электронной почте:

Julkaistavia kirjoituksia otetaan vastaan osoitteessa:

inyeberega@gmail.com

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Присланные материалы не рецензируются.

Издатель: Объединение русскоязычных литераторов Финляндии.

Lähde mainittava kirjoituksia lainattaessa.

Lehden kanta ei välttämättä ole sama kuin kirjoittajan kanta.

Lähetettyjä aineistoja ei arvioida.

Julkaisija: Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry.

© Иные Берега Vieraat Rannat 2 (21) / 2016

© Inye Berega Vieraat Rannat, 2 (21) / 2016

СОДЕРЖАНИЕ • SISÄLTÖ

Проза и поэзия
Proosaa ja runoja

Александр Пахомов. Здесь был я. <i>Роман.</i>	
Aleksandr Pahomov. <i>Täällä olin minä. Romaani.</i>	6

Павлик Лемтыбож. *Стихотворения.*

Pavlik Lemtybozh. <i>Runoja.</i>	36
«Жизнь венчает как бы пробка...» <i>"Niin kuin korkki seppelöi elämän..."</i>	36
«Я стою у ванны...» <i>"Seison ammeen luona..."</i>	37
«В магазине, где рыбы...» <i>"Kaupassa, missä kalat..."</i>	37
«Женщина идет с пучком волос...» <i>"Nainen kävelee hiukset nutturalla..."</i>	37
«Я держал в японских банках...» <i>"Pidin japanilaisissa purkeissa..."</i>	38
«Баржи баржи с цветною капустою...» <i>"Proomuja proomuja kukkakaalien kanssa..."</i>	38
«Голове твоей сообщает моя голова...» <i>"Päällesi ilmoittaa minun pää..."</i>	38
«Оставьте все, как было, не снимайте со стены...» <i>"Jättäkää kaikki niin kuin oli, älkää ottako seinältä pois..."</i>	39
«Вижу голую Марию...» <i>"Näen alastoman Marian..."</i>	39
«Пойдем покурим, милый друг!» <i>"Mennään tupakoimaan, armas ystävä!"</i>	39
«...И чайки плачут и зовут детей...» <i>"...Ja lokit itkevät ja kutsuvat lapsia..."</i>	40

Наталья Мери. Хорватия. *Миниатюра.*

Natalia Meri. <i>Kroatia. Minatyryri.</i>	41
---	----

Владислав Пеньков. *Стихотворения.*

Vladislav Penkov. <i>Runoja.</i>	43
Такое кино. <i>Sellainen elokuva.</i>	43
124.	43
Время пейзажей, пейзажи времен. <i>Maiseman aika, aikojen maisemia.</i>	
1. «В небе розовом — звезды и птицы...» <i>"Vaaleapunaaisessa taivaassa – tähtiä ja lintuja..."</i>	44
2. «Дождика растет щетина...» <i>"Sateen säнки kasvaa..."</i>	44
Черемуха. <i>Tuomo.</i>	45
Адрастея. <i>Adrastea.</i>	46
Перс. <i>Persialainen.</i>	47

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

Сто первый. <i>Sata ensimmäinen</i>	47
Фонарик. <i>Taskulamppu</i>	47
Вторая, третья. <i>Toinen, kolmas</i>	48

Николай Васильев. Рассказы.

Nikolaj Vasiljev. Kertomuksia.

Вчерашняя жизнь в провинции. <i>Eilinen elämä maaseudulla</i>	49
Место под солнцем. <i>Paikka auringon alla</i>	57
Предварительный марафон. <i>Ennakkomaraton</i>	65

Алексей Ланцов. Стихотворения.

Aleksey Lantsov. Runoja.

Заросли чертополоха. *Tiheä karhiainen*.

I. «Дахаб, Ларнака, Варадеро...» *"Dahab, Larnaka, Varadero..."* 70

II. «Головную боль заглушить труднее...» "

Päänsärkyä lievittää vaikeampi..." 71

Юнона и Авось в XXI веке. *Junona ja Avos' 21. vuosisadalla*. 72

«Внес я в Декарта поправки...» *"Teen korjauksia Descartesiin..."* 72

«Так или иначе понятый...» *"Ymmärretty sillä tai toisilla lailla..."* 72

4

«...и век минувший»
"*...vuosisata mennytkin*"

Дмитрий Шляпентох. Фемистокл, сын Неокла. Повесть.

Dmitri Shlyapentokh. Femistokl, Neoklin poika. Pienoisromaani.

Предисловие. *Esipuhe*. 73

Фемистокл, сын Неокла. *Femistokl, Neoklin poika*. 79

Неизвестный автор. Сказание о бледной деве.

Tuntematon tekijä. Tarina kalveasta immestä.

Алексей Ланцов. Тайны горы Импиваара.

Aleksey Lantsov. Impivaaran salaisuuksia. 102

Сказание о Бледной деве. *Tarina kalveasta immestä*. 104

Людмила Яковлева. Тетрадь с блошиного рынка.

Ludmila Jakovleva. Vihko kirpputorilta. 111

Переводы
Venäjännöksiä

Päivi Nenonen. *Runoja.*

Пяйви Ненонен. *Стихотворения.*

Tryptiikki.

I. «Puistoon saapui vieretysten pieni ja suuri lapsi...» 114

II. «Äkkiä päästin irti ja annoin mennä...» 115

III. «Siinä, mihin metsä loppuu, siinä alkaa pelto...» 115

Torni. 116

Максим Шеин. Из Пяйви Ненонен.

Maksim Shein. *Päivi Nenosen runoista.*

Триптих

I. «Внучка с бабушкой вприпрыжку показались на опушке...» 117

II. «Я полетела туда, где никто еще не был...» 118

III. «Распахнет просторы поле за опушкой леса...» 118

Башня. 119

Критика и публицистика
Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia

Ольга Пуссинен. «Первое поколение новой страны»: Молодая российская проза.

Часть первая. Топор или петля? — Роман Файзуллин.

Olga Pussinen. *"Uuden maan eka sukupolvi": Nuori Venäjän proosa.*

Osa I. Kirves vai silmukka? – Roman Faizullin. 120

Наталия Редозубова. Счастливый билет.

Natalia Redozubova. *Onnellinnen lippu.* 137

Книги наших авторов
Meidän jäsenien kirjoja

Нина Гейдэ. «Билет на «Титаник».

Nina Gade. *"Lippu "Titanicille".* 142

Галия Мавлютова. Крещенский вечерок.

Galia Mavlutova. *Loppiaisilta.* 142

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Proosaa ja Runoja



Александр Пахомов

Aleksandr Pahomov

Здесь был я

Не все блуждающие – потеряны.

Родился в Москве, детство провел в Финляндии. По образованию культуролог. Публиковался в антологиях современных авторов «Листая свет и тени» (2015). Победитель конкурса Литературного института «ЛитКонкурс. Стихи и проза» (2015). Живет в Подмос-

кowie.

мы топчемся. Вообще, невозможно понять направление движения человека, если он вдруг замер.

Рубашов хочет написать о себе, о своем окружении. Предполагает, что если это удастся, то он напишет о целом поколении. Кажется, Хемингуэй говорил, что в начале следует просто писать, пусть все идет, как идет, не стоит оглядываться на написанное. Если бы он в молодости услышал свои слова, то разбил бы себе нос. Еще он говорил, что не стоит чесать себе затылок дустволкой. Вряд ли он потянул бы такие длинные предложения. Каждое, как маленький роман. Надо больше писать, не оглядываться, и к черту ошибки. Двенадцать лет в школе не уберегли от них. Большему научились на переменах. Теперь перемена бывает только вечером, после работы. Два-три часа, за которые успеешь поесть, списать домашнее задание, и встать с одноклассниками вдоль стенки. Рубашов говорит, что не любит вспоминать то время. В особенности потные ладони, дешевые костюмы, пакеты со сменной обувью, длинные зимы и дорогу до дома, особенно дорогу до школы. Многие его знакомые не согласны. Ничего нового. Они говорят, что тогда совсем не было ответственности. И школа была рядом. Из всего его класса только один парень ездил до школы на метро. Еще он пил сидр на уроках. О деньгах не надо было думать. Не то чтобы они валялись под ногами, скорее все нужды лежали на полках киосков с компьютерными играми. Помнит:

прогуливали неделями, когда выходила новинка. Не любит вспоминать. Говорит, что сейчас лучше. Только сейчас, говорит Рубашов, настал тот возраст, когда по-особенному чувствуешь жизнь, как-то свободно. Конечно, тогда не было ответственности, но никто и не понимал этого. Всем вдолбили, что хорошие оценки – это зарплата. Неужели кто-нибудь тогда понимал, что им по тринадцать лет и что им, по большому счету, ничего делать не надо, кроме нескольких шагов до класса? Не понимали. Помнит одного парня из восьмого класса, который плакал над тройкой по математике. Рубашов к тому времени уже пару лет как не видел троек по математике, сплошные колы, а тот расплакался. Тогда хотелось плакать над ним.

Нет, что ни говори, но лучше по ощущениям сейчас. Он называл это первой стадией чувства свободы: чувствуешь, что способен на все, но ничего не делаешь. Вторая, завидная стадия: чувствуешь и делаешь. Третья, совершенная: чувствуешь, делаешь, получается. Пока застрял на первой. Третья вполне возможна. Через пару наград, международное признание, деньги — чтобы в самый раз, то есть чуть больше чем достаточно. Деньги. Острое слово. День-и-Ги. Как название современного отечественного романа. Зарплаты едва хватает на оплату квартиры. Конечно, он сам виноват. Ему еще повезло, что снимает недорого. С другой стороны, Рубашов только сейчас заметил, что это, конечно, ужасно. Почти в два раза меньше рыночной, а все равно с трудом. Нет пределов совершенства, но нет пределов и у обратной стороны, подумал он только что.

Пусть тебе неизвестно, с чего следует начать.

С первым романом было совсем по-другому. Наперед знал каждое движение героя и собственной руки. Так ясно себе все представлял. Видел, куда ложится каждый луч света, слышал каждый шорох, каждую мысль любого из персонажей чувствовал, как свою собственную. Да он и был мыслью каждого персонажа, был и шорохом, и скрипом, и ветром, шумом и яростью, светом и тенью. И свет, и звук, и персонаж были им.

Свой первый роман Рубашов писал долго. Год ходил вокруг да около, останавливался в блокнотах: два-три предложения – как штрихи, как зарисовки, чтобы не забыть. Замечал, что все больше и больше обсуждает героев, мотивации, смыслы, образы. Особенно удачные находки цитировал. Еще целый год стучал по клавиатуре. Удалял главы, ругался, бился головой, страдал, рвал волосы, считал себя гением. Выбивался из сил, ненавидел, но не мог бросить. Ему нравилось возиться в бумажках, чернилах, в словах и запятых под лупой, точно он собирал часы по собственному чертежу. Точно эта работа приравнивала его к великим сего мира, защищала от старения и уберегала от смерти. Гордился. Роман был смыслом, публикация – путеводной звездой, повседневность – бурей, до которой не было Рубашову никакого дела. Иногда, правда, волны оглушали, эта чертова неуверенность и лихие сомнения в собственном «я». А Рубашов пил соленую воду, думая, что таким образом уровень океана понизится. Да и сам напьется. Чуть было не захлебнулся. Или чуть захлебнулся. Это позже.

Со вторым романом все по-другому. Идея не ходила тенью несколько лет, никаких образов, никаких героев и сюжетов. Скорее, это импровизационные песочные часы. Горсть песка – минута, десять минут, неизвестно, и пусть не совпадает с Гринвичем, кто он такой в конце концов. Песок мокрый, хорошо лепится. Несколькоими годами ранее, еще на заре этого литературного аншлага друг Рубашова спросил:

– Почему бы тебе не написать роман о нас?

– Нас с тобой? – уточняет Рубашов.

– Нет, про нас. Всех нас, молодых.

Рубашов несколько лет пытался ответить. Все он делает долго, отвлекается. Затем пожал плечами и вынес вердикт из пространства наблюдений:

– У нас нет сюжета. В романе должен быть сюжет.

Потому что сюжет, углублялся Рубашов, это не просто набор действий. Затем он поставил на паузу новый сверкающий блокбастер, потому что не любил противоречий, наступающих на пятки еще не окрепших мыслей, и продолжил: в сюжете действия целенаправленные. Как стрелочки на плане эвакуации. А у нас, кажется, нет ни хрена никаких векторов, у нас куриная слепота.

Рубашов не может обойтись без образов. Поэтому он окинул взглядом утопающих и поплыл дальше, напиваясь.

Вопрос – ответ, ответ – вердикт. Четыре бетонные стены. Обжалование, апелляция, верховный суд тире время.

Сейчас Рубашов сидит за столом. Еще один образ, как картина в рамке, зацепился за извилину: желание рассказать про свое поколение при отсутствии сюжета — как послевкусие на пустой желудок без продуктов и поваренной книги. Образ одобрен талантом, заверен печатью и отправлен в архив.

На улице хлопнули дверью. Он решил написать этот роман. Со временем распробовал один из ингредиентов – это самое последнее предложение в еще ненаписанном романе. Вот это предложение:

Рольставни со скрипом ползли по окну, как титры в конце фильма.

Напоминает Воннегута, что несколько огорчает.

Рубашов вспоминает, как он в пятнадцать лет познакомился с сюрреализмом: в смысле, с течением в живописи. Листал в очередной раз репродукции Дали, а дальше закрутилось, завертелось, как это обычно бывает. Услышишь новое слово: его, точно нарочно, все произносят. Так и в тот раз: сюрреализм то, сюрреализм се. Фрейд, Бретон, Дали, Танги, Магритт и увлеченный Рубашов, с юношеским максимализмом мечтающий стоять в одном с ними ряду. Он предположил тогда, что чем меньше он будет знать об этом течении, как, впрочем, и о любом другом, тем его творчество будет чище. Любознательность победила, но и сейчас мысль о «чистоте» не отпускает, будоражит даже. Было в ней что-то интересное. Возможно, он слишком строг к себе, но в каждой строке своих рассказов и единственного пока романа он замечал влияние того или иного писателя. Чаще всего это раздражало, но пару раз он слышал комплименты о своей начитанности, которые несколько выравнивали общий уровень негодования. Да и неизбежно это. Остается надеяться только на своего читателя, который либо незнаком с творчеством кумиров Рубашова, либо не будет так строг к Рубашову, как он сам к себе. Возможно также, продолжал Рубашов, что именно так и звучит его собственный писательский голос: из связок классиков, вбраний вечных тем и тональности личного опыта. Напоминает оправдания.

С дымящейся сигаретой он ходил по кухне. Пустой документ на экране ноутбука предательски молчал, а вопросы ульем кружили в голове, требуя немедленного решения. Наконец Рубашов сел за стол, достал бумажный блокнот и ручку, потому что эта пара не требовала такой конкретики, как компьютер, и принялся чертить подобие плана.

Кто главный герой?

О чем роман?

Какой сюжет?

Нужен сюжет!

Название.....?

У него закрытая улыбка, и сам он весь закрытый.

А если к нему прикоснутся, даже нечаянно, он вздрогнет.

Вырисовывается замысел?

О себе? Какой стиль?

С чего начать? Ниже, как варианты:

1. С разговора с Филиппом.
2. С собеседования – дешевый прием, придется сразу говорить о персонаже.
3. С очередного рабочего дня.
4. Со дня рождения.

Рубашов был уверен только в одном: роман ни в коем случае не следует писать от первого лица. Только в исключительных случаях такой подход оправдан. Когда, например, сама история требует именно такого исполнения. В некоторых вещах Набокова, определенно у Ли и Сэлинджера, и Ремарка, плюс пару имен навскидку. От первого лица, по словам Рубашова, писать значительно легче, и сама история становится легче. Так как бесконечные «я» на страницах оправдывают главного героя и его поступки. Например, в дебютном Фаулзе, и Гумберт, конечно, хотя это крайности. Да и если присмотреться, все эти герои имеют одну общую черту, как бы ни прекрасно владел пером их создатель: они идеалисты. Словно маленькие дети, они раз за разом сталкиваются лицом к лицу с большим порочным миром, который пытается их сломить и растоптать, но это никогда ему не удается. Даже если на последних страницах в их историю вмешивается посторонний, любезно сообщающий читателю о том, что автор погиб. И сам слог таких романов проще, и мир несколько ограниченнее, поскольку его описание исходит от субъекта. Но в этом их единственная ценность: такие романы посвящены одному человеку и сосредоточены на его мире. Никогда в них не увидишь строчки «он подумал», ведь главному герою, увы, не ведомы мысли других персонажей. Но самая большая проблема, по мнению Рубашова, заключалась в том, что многим героям было совершенно несвойственно описывать свою жизнь. Вождь Кизи, например. Как он мог написать про Макмерфи, и еще так написать?

А если роман имеет форму дневника? По мнению Рубашова, это чудовищно. С точки зрения писателя. Чудовищно, но неизбежно. Эпистолярный жанр никогда

не выйдет из моды. Напротив, чем больше людей, тем шире этот жанр. Многообразие блогов тому подтверждение. Ведь каждый человек всегда будет неосознанно искать самого себя в других людях, спасаясь, таким образом, от холодного одиночества.

Уже что-то. Улыбка зарницей осветила мрачное лицо Рубашова. Второй роман будет про его поколение — наивных интеллигентов нового времени, первое поколение новой страны. И этот роман будет написан от третьего лица. И этот роман будет заканчиваться рольставнями, ползущими по окну, как титры в конце фильма. И у героев его романа не будет векторов движения, как на схеме, и будут они блуждать по страницам в поисках своего автора, они будут появляться и исчезать. Еще одна сигарета превратилась в дым. Почему бы Рубашову не писать конкретно про себя? Ибо кто, как не он, варится в общем котле, и при этом способен красноречиво описать температуру кипения? Причем описать все происходящее от третьего лица, глазами объективного, не вмешивающегося в жизни героев автора; возможно так, Рубашов найдет смысл, общую идею или структуру своего поколения, — словом, то, что поколение определяет. Он ведь был уверен, что его поколение потеряно, но никак не мог выделить причину куриной слепоты.

Практически каждому из своего окружения он задавал один и тот же вопрос: кем бы ты хотел быть? Уточнял: представь, что я могу исполнить любое твое желание... Сделать тебя музыкантом, дать деньги на открытие своего дела, что угодно. Кем бы, что бы, как бы смысл твоего существования — уточнения выпадали из вопроса. Никто не мог ответить. Все начинали размышлять, копаться в памяти, и говорили всегда что-то туманное, типа — кинозвездой. Рубашов замечал, что такие расспросы утомляли собеседников. Сам он мог ответить. Правда, немного стеснялся. Но каждый раз, за пару месяцев до очередного дня рождения или во время личностного кризиса, он переставал верить в собственный ответ. Ему казалось, что он нагло врет самому себе и его ответ призван только выделить Рубашова на фоне общей неуверенности и некомпетентности. Посмотрите, мол, потребители-троглодиты, я хочу быть писателем. А когда он говорил об этом людям постарше, то они улыбались, одобрительно кивали, и, казалось, желали умилительно потрепать Рубашова по головке, как это всегда делают родители, когда слышат от ребенка наивные высказывания. Пусть он и врет самому себе, но подобная отеческая милость раздражает похуже любой лжи. Возможно, в своей мечте он действительно наивен, как герой «я»-романов. Возможно, что остальным всегда понятней твои собственные переживания и драмы: им со стороны виднее. Чужие трагедии всегда банальны. Рубашов ловил себя на такой мысли, когда слушал переживания знакомых. Терпеть не мог ни давать советы, ни получать советы, поэтому слушал молча, пока они не замолкали.

Рубашов будет писать про себя. Не о себе, но про себя. Есть разница. Уже есть герой.

Рубашов будет писать правду, во всяком случае, ту правду, которую сам знает. Вот, он будет главным героем своего романа. Будет писать честно, к черту идеалы и условности. Будет жить, как живет, только внимательней наблюдая за всем. И не как раньше, оставляя интересные наблюдения на будущие рукописи, а напротив, все происходящее будет фиксировать с маниакальной точностью и использовать в этой работе. Изменит, конечно, имена, названия, места, потому что такого рода ответственности он не потянет, но во всем остальном — как стенографист. Разговоры будет записы-

вать на диктофон. Рубашов опять улыбнулся и принялся копаться в старых записях. Вот что он искал:

Если бы он решил описывать сегодняшний день, то сделал бы это так: проснулся, двадцать три с половиной страницы пустоты, уснул. С автобиографией было несколько сложнее. И в самом деле, кто бы купил несколько томов пустых страниц в непременно кожаном переплете?

Расстроился. Пониженная самооценка Рубашова (порок современного общества) опережала его амбиции. От сомнений он устал больше всего. Хотел бы он прожить несколько месяцев без приступов самобичевания, толкающих его в сторону эскапизма. Слепо и нагло верил в то, что подобные «выпады» прекратятся сразу же, как только его опубликуют. Хорошо опубликуют. С продажами, интервью и автографами, и еще чем-нибудь. Он не разбирался во всех тонкостях, свидетельствующих об успехе. Но и здесь, в этих туманных мечтаниях, сомнения перекрывали кислород и сказочные пейзажи душевного равновесия рассыпались, превращались в пыль, гонимую прочь ветром.

Побежденный, но живой, Рубашов решает со своим новым романом наконец-то поступить следующим образом: приблизительно через месяц, в свой двадцать шестой день рождения он начнет потихоньку писать. Ежедневно. Постарается описывать все или почти все, что чувствует, видит и думает. Ровно через год, в двадцать семь, у него должно что-то получиться. Идея ему по душе. Он уже давно хотел проделать подобный творческий эксперимент. Правда тогда, отвлекаясь от слов, он был сосредоточен на красках: в течение года он хотел вести видео-дневник. Поставить камеру напротив огромного холста и вести съемку своей работы так откровенно, чтобы правда была не только в каждом кадре, но и в каждом пикселе кадра. Запечатлеть всю работу от набросков и раздумий до оформления работы в багет. Рубашов даже видел последнюю сцену документального фильма: все выводы, хорошие они или нет, сделаны; он, голый по пояс, сидит напротив только что законченной картины (ее масштабы впечатляют, особенно на фоне пятнадцатиметровой комнаты, а сама картина пугает своими образами, но от нее невозможно оторваться); изнеможенный Рубашов устало смотрит в угол комнаты – там стоит новый холст. Затем черный экран и музыка. Он даже подобрал дну песню, которая, как ему казалось, наиболее точно отражает суть сцены и всего фильма. Фильм должен был называться «Глубокое впечатление. Портрет художника».

Опять сигарета, опять улыбка. Рубашов доволен самим собой. Почувствовал усталость – она повисла на его плечах и веках. Решил, что так и поступит с романом, ему кажется, что он нащупал тему, что он на верном пути. Выключает ноутбук и, минув ванную комнату, шаркает в спальню.

Спустя несколько дней он понимает, что по-прежнему на ложном пути.

Ему так о многом хочется рассказать... Его пространственные размышления в устном варианте тянутся на сотни страниц, но как только он садится за работу, они тотчас же сжимаются в одно-два предложения. Острых, как угрызение совести, но небольших. Если Рубашов над ними еще немного поработает, переставит, например, местами слова или подберет синоним получше, пусть и опасный, но единственно,

как ему кажется, верный, то такие предложения рискуют и вовсе остаться незамеченными. Что-то вроде тонкой работы, ювелирных украшений, только невидимых. Этим не похвастаться, не показать витиеватый ход мысли под покровительством опыта и мастерской работы над превращением хода в ограненный алмаз. Бумага стерпит все, кроме огня, а читатель не такой сухой и горячий. Рубашов очень внимательно относился к читателям, но их едва ли набиралась дюжина. Он вновь ходит несколько дней в размышлениях, взгляд его устремлен вдаль. Рубашов спотыкается о каждодневные хлопоты, отвлекается на работу. Он хочет проследить за личными изменениями, произошедшими с ним за последние пару лет: от работы над первым до окончания второго романа. Рубашов считает, что лучшим началом романа, в таком случае, будет его увольнение с предыдущего места работы – хочет поймать себя на старте метаморфоз. Единица превращается в двойку, двойка – в тройку, как одинокий монолог, услышанный посторонним, становится диалогом, а затем вновь монологом, доносящимся с трибуны.

Итак, двумя годами ранее...

Середина июня, жаркая пятница. Рубашов с самого утра в приподнятом настроении. Тополиный пух собирается в кучки на обочине, но больше не возникает никакого желания сложить его весь в наволочку и забыться сном под деревом в тени. Нет, ничего такого. Сегодня Рубашов бодр. Он только что поздоровался с охранником и теперь курит напротив своего офиса. Это семиэтажное здание ярко-оранжевого цвета раньше принадлежало какому-то заводу, что наводит на определенные мысли относительно перемен, произошедших не только со страной, но и со всем миром. Вместо станков – компьютеры, вместо промышленности – акции, проценты, услуги, что-то эфемерное, вместо рабочих после школы – менеджеры с высшим, вместо мозолистых рук – мягкие, с маникюром и часами на хрупком запястье. Пожалуй, остались только завышенные планы.

Здание затерялось среди жилых домов, в конце улицы, на отшибе города. Рубашов теперь знает классификации офисов. Их всего три: А, Б и С. Это здание класса Б. Здесь хороший ремонт, парковка и охрана в дешевых костюмах. Но уйти отсюда можно только дорогой, по которой пришел. Это тупик, а за его железным забором что-то неразборчивое: склады, шиномонтаж, металлолом, стоянка грузовиков, свалка, рельсы, поля и тусклые пейзажи, новостройки, старостройки, как хлам в ящике, от которого невозможно избавиться из-за жалости и слабой веры в то, что когда-нибудь это все пригодится. По соседству с офисом находится хлебозавод, об этом можно догадаться только по двум-трем табличкам – никакого аромата свежее испеченного хлеба никто здесь никогда не слышал. Около него как раз остановился автобус с первоклассниками. Сюда часто провозят экскурсии. И пока дети шумно строились парами, а классный руководитель их пересчитывал, к Рубашову подошел его коллега. Поздоровался, закурил и тоже стал наблюдать за построением колонны.

– Опять экскурсия?

– Да.

– И чего им неймется-то всем?

– Я вот чего сейчас подумал, – говорит Рубашов, не отвлекаясь, – им ведь всем лет по семь-восемь...

— Ну да, судя по всему.

— И вот как странно... Они ведь совсем скоро забудут эту экскурсию. Я не помню вообще никаких экскурсий за все школу, а нас без конца куда-то водили...

— Забудут, конечно.

— А я никогда не забуду, что видел этих первоклашек. То есть для них, как будто этого ничего не было. А для меня есть.

— Не заморачивайся.

Рубашов никогда прежде за четыре месяца работы не позволял себе уходить в разговорах так далеко. В основном он ограничивался рассказами о клиентах, сводками погоды и обсуждением меню соседней столовой. А сейчас сорвался. Но больше не было никакого смысла скрываться в деловой рутине, больше его здесь не увидят.

Он вернулся к своему огороженному рабочему месту. Сел за старый, вредный, скрипучий и писклявый компьютер, который отлично справлялся только с двумя задачами: зависать и раздражать. На протертый стул. За стол из дээспэ, под бук — других он никогда не видел.

Офис был сегодня полупустым и бесшумным. За последний месяц только из его отдела ушло семь человек. Рубашов будет восьмым. Он открыл свой ноутбук и принялся дальше писать первый роман, изредка отвлекаясь на рабочий компьютер. Он знал, что руководство просматривает все его действия на рабочем, ведет статистику звонков. Рубашов говорил всем, что на ноутбуке переписывает договор для клиента, потому что так выходит быстрее. Предполагал, что искусно имитирует трудовую деятельность, пока на прошлой неделе руководитель не назвал его козлом, не дающим молока. После этого замечания — или оскорбления? — или обычной констатации факта? — Рубашов не изменил своего поведения, решив, что всякое изменение будет означать безоговорочную победу оскорбляющего начальства. И как только его, думает Рубашов, угораздило после двух лет нескончаемых поисков и бесчисленных собеседований остаться здесь, причем именно на той должности, которую он так усердно избегал все это время.

Менеджер по работе с клиентами. Как же до смешного благородно звучит. Рубашов изучал менеджмент в институте, но провалил экзамен, не ответив на вопрос преподавателя: каким же таким замечательным делом занимается менеджер? Рубашов не знал ответа до сих пор. Ему кажется, что всеми этими новыми иностранными словечками прикрывают простую ерунду. Брючки, пиджачки и часики, телефоны, планшеты, машины в кредит... наглая, глупая ложь, фальсификация счастья, песок для внутренней пустоты. Важные встречи, деловые переписки, ланчи, переговоры и новая тема для современной литературы. С другой стороны, которую всегда старался замечать Рубашов, некоторым это действительно по душе, а раз так, то как он может утверждать о ложности и бессмысленности делового мира? Никак. Он толком и не имеет никакого к этому отношения. В его обязанностях совершать двадцать звонков в день, побеждать в словесном поединке секретаря, который соединит Рубашова с ответственными лицами, затем встретиться с ними, желательно на нейтральной территории, презентовать им услуги своей компании, подписать договор, получить процент, потратить процент, начать все с начала.

Он ненавидит каждый пункт. В течение дня Рубашову звонят такие же менеджеры, говорят о достоинствах своих услуг, пытаются назначить встречу. Рубашов деликатно отвечает им, что подобные встречи не в его компетенции. Набирает номер, говорит о достоинствах, старается назначить встречу. В последнее время он даже не пытается. Он не может этим заниматься. Ему кажется, что как только он берет в руки телефонную трубку, все в офисе начинают к нему прислушиваться, а на другом конце провода смеются над ним, и с каждым словом, произнесенным робким его голосом, Рубашова становится все меньше.

Практически никто в офисе не знает, как его зовут и чем он занимается. С ним практически никто не разговаривает. Офисный раздраженный планктон. Поэтому он имитирует деятельность. А сам пишет свой роман. С десяти утра до шести вечера. На обед ходит один. Из всего офиса он симпатичен только секретарше, которая посчитала его хорошим человеком. Она так и сказала, что из всех здесь присутствующих хороший только он и еще двое. И пусть он в этом не сомневается, так как она отлично разбирается в людях. Рубашову лестно такое слышать. Но несмотря на злобу человека, чувствующего себя не на своем месте, Рубашов испытывает упрёки совести. Все-таки ему платят. Двадцать тысяч, по десять в начале и середине месяца, а он занимается своими делами. Во время последнего разговора с руководителем, они с Рубашовым решили следующее: если за месяц Рубашов не подпишет ни одного контракта, то он уходит. Причем главным инициатором соглашения являлся Рубашов, чем, как ему показалось, вызвал уважение в холодных глазах начальства. И сегодня, в жаркую пятницу середины июня, истекает срок.

Он открывает новый документ и пишет эссе о своих рабочих впечатлениях, стараясь ничего не пропустить:

Вверх по лестнице, ведущей вниз.

О работе приобретенной.

(2 день.) Здесь странно. Молчаливо, незнакомо и от этого совсем неуютно.

Вот-вот сон одолеет ленивое тело. Представляю, как тяжелая голова с треском упадет на клавиатуру.

За моей спиной проходит интервью. У кандидата грубый голос, он долго отвечает на вопросы. Теперь я прекрасно понимаю, как рождается подобная литература: средний класс и прочее. Возможно, я понял, почему сейчас проходят митинги: всё от страшной скуки. В таком настроении после девяти часов за компьютером кажется, что жизнь длится бесконечно, а прошло чуть больше суток.

И если у меня появляются хорошие идеи, я бегу напрямик к начальнику, по пути ни с кем не разговаривая, не здороваюсь, даже не смотрю в глаза.

Чай ужасен, вяжущий.

Совсем тихо.

Из кабинетов доносятся приглушенные голоса и стук клавиатуры, и гудение компьютеров с кондиционерами. Иногда ворчит кофе-машина. Я неуверенно ступаю по коричневому ламинату, стараясь никого не отвлечь от работы (или разбудить), кажется, что мои ботинки скрипят невыносимо громко, будто бы я выжимаю тишину, как тряпку.

За соседним столом играет тяжелая музыка, очень тихо, почти шепотом.

(3 день.) Чем ближе приближается к тебе вечер, тем спокойнее твое дыхание. Все заканчивается, осталась только незначительная бюрократия.

Курильщики выходят на улицу в одно и тоже время или, сказать лучше, когда время потребностей совпадает. Там они встречаются и некурящих.

(4 день.) Сегодня я был первым. Ровно в десять часов компьютер был включен, а новости прочитаны. Громкие, уверенные и тонкие шаги по полу. 15 минут, и все только подтягиваются, вползают, заполняя собой пространство. Новое собеседование за спиной.

(6 день.) Вышел не на своей станции, вовсе не от большого желания поскорее прибыть на работу. Я назвал бы это «нереализованной возможностью побега».

Скорее всего, если кто-то умирает на рабочем месте, то его (теперь покойника) найдут только по запаху, реже — через бухгалтерский отдел. Хорошо, что время проходит незаметно... с другой стороны — это ужасно в больших масштабах.

(8 или 9 день.) Вновь проехал несколько станций, последние деньги потратил на успокоительное и несколько поездок на метро. Спокойно ездить, безусловно, необходимо, но и кошелек должен согревать хотя бы одну купюру, как наши голоса должны хранить надежду. Но отчаяние уже не стучится в дверь, оно в прихожей снимает ботинки. Еще немного, и оно пройдет в жилую комнату, а я, предложив чай, стану развлекать неприветливого гостя.

(10 день.) Это мое самое длинное предложение, пишу по одному слову в час.

(12 день.) Правда, я ненавижу это место. То, чем я боялся заниматься и больше всего не хотел, вдруг, по моей же нелепости, размножилось и стало моими обязанностями.

(20 день.) Еще недавно я говорил, что человек должен ответственно выполнять свою работу, какой бы нежеланной она ни была. Не оттого, что человек что-то обязан и кому-то должен... а потому, что это вопрос чести и собственного достоинства. Здесь становится понятно: к черту это. Очень много времени это занимает, и награда весьма далека, если вообще существует. И, в конце концов, мне сейчас надо платить по счетам. Сталкиваются противоположности лбами: гнев и сострадание, ненависть и достоинство и т.п., — и с очаровательной легкостью, второе (лучшее) капитулирует. И если лучшее во мне (и, предполагаю, во многих других) проигрывает при таких обстоятельствах, то не стоит и говорить о больших испытаниях. Но что-то, похожее на очень далекую звезду, еще остается, и свет, пусть очень слабый, долго пробивается через холодную абсолютную пустоту, чтобы растаять в предлагаемом им тепле.

Вот, получилось живое эссе. Начато с заметок и наблюдений за маленьким миром вокруг меня с целью наблюдений за превращением одного крошечного человека в другого. А перешло в наблюдения за сопротивлением этого человека, желающего вырасти.

(Неизвестно какой день.) Сколько я здесь работаю? Чуть меньше месяца, кажется... За это время компанию покинуло пять человек, в том числе и мой босс (так и хочется отдать честь). Семь лет работал, в последний рабочий свой день угостил

всех суши. На сырое мясо слетелись почти все, как мухи. Рот набит, пластиковая тарелка прогибается, сүшина набухает в соевом соусе. Кивают головами, вкусно, вкусно. Никаких речей. Молча были собраны вещи в кабинете, всем пока, гуманно и быстро, но никто раута не ожидал. Это уже не естественная текучка кадров, скорее протечка ресурсов. На корабле течь, капитан, корабль тонет. Капитан! Капитан? А что капитан сразу? Он как все и среди всех, и вот уже плывет к берегу на шлюпке. Что делать матросам? Маневрировать, ребятки. Гребите. Присмотритесь, нас обгоняют конкуренты. По запросу «создание сайтов» мы на десятой странице, замыкаем сотню компаний. По цене за услуги, дороговизне в смысле, мы эту сотню открываем. У компании большая история, как тяжелый бесполезный груз, как сброшенный якорь на мелководье. Мы плывем, или падем дно?

(Последний день месяца.) Это точно последний в месяце — ведь мне дали зарплату. За эти деньги не купишь себе спасательный круг на тонущем корабле (возвращаюсь к предыдущим записям). Впервые за пару лет алчные и потные ручки пересчитывали купюры. Купюр было мало.

(Неизвестный день, заметка.) Чуть раньше, чуть выше... Я был на встрече с клиентом. Первой моей встрече такого рода. Напомнило свидание. Сначала мы говорили о себе, они слушали. Затем они заговорили о себе, и слушали уже мы. Заученные фразы, без огонька, без импровизации, как школьники читают стихотворения перед классом... Мы говорим 20%, они говорят 25%, жмем друг другу руки, прощаемся. Через неделю руки опускаются, так как нет никаких договоров. Через две мы делаем вид что не слышали о 25%. Через три недели встреча забыта — ее поглотил зыбучий песок рутины.

(Заметки на полях.) Я стал приходить в одно и то же время — это стандартизация. Я стандартно прихожу с получасовым опозданием — это застой. Первый, с кем я здороваюсь — новенький. Он здесь всего пару недель. Работает на чистом энтузиазме. Славный косноязычный парень верит, что его зарплата зависит только от него самого.

Начальство меня не видит, я сижу в углу, набираю текст, набираю номер телефона, и тут уже все становится непонятно: меня вроде как и не существует, и другие, как бледные тени, по стеночкам...

(45 день.) Начальство сравнивает меня с козлом, не дающим молока, я не спорю.

(46 день.) Мною было разослано не меньше резюме, чем в безработное время.

(50 день.) Новенького больше нет. Нет больше и его начальника, и работника чином пониже. Да тут практически никого нет.

(51 день.) Вот какое дело: либо ты дурак, либо ты не на своем месте.

(52 день.) Чем больше я смотрю на цены за готовые коттеджи и строительство с «нуля», чем больше вижу «элитных» квартир (слава богу, что на фотографиях), тем тяжелее мне думать о зарплате.

(55 день.) В коридорах знойного офиса витает аромат разочарованности. Чувствую, что пройдет совсем немного времени и этот аромат впитается в заявление. И останутся все те, кто был здесь прежде.

Рубашов никак не может сосчитать количество дней, проведенных здесь. В эссе написано пятьдесят пять, но на пальцах получается больше. Он пришел в марте. Чуть больше ста дней в сумме. Он смотрит на эссе: ему вновь удалось сократить все вдвое.

Наконец раздается телефонный звонок. На дисплее высвечивается внутренний номер — это руководитель. Рубашов абсолютно уверен в своих силах. Он заходит в кабинет так, словно здесь его ждет награда за боевые заслуги...

Рубашов считал, что второй роман начнет как раз с этой встречи, но он не помнит, к сожалению, самого разговора. Только руководителя Филиппа — лысого, серьезного, пугающего. По слухам, он раньше работал в полиции, и в разговоре с ним это чувствуется. Что-то тяжелое во взгляде, грубоват. Если он будет угрожать, то угрозам поверишь, а находясь с ним наедине, не почувствуешь себя расслабленно. Он давит. Не словами, но интонацией, всем своим видом. А еще невозможно определить его возраст. Так можно выглядеть и в сорок, и в тридцать, и где-то посередине. Говорили, что у него был самый высокий процент совершенных сделок. Помнит кабинет: оранжевый, два стула, одно кресло, торшер, стол темно-коричневый, огромный монитор. С одним окном, от пола до потолка, и то выходило в коридор. А разговор не помнит. Что-то в общих чертах, туманно: клиент не согласен, резину тянут, договор им не нравится, не хочу тратить ваши деньги и время, с поставленной задачей не справился, дела передам начальнику отдела. Хотел было честь отдать, но всеобщее сухим рукопожатием и обоюдным пожеланием удачи. Помнит, что еще деньги получил.

Дописанное в тот день эссе помогает припомнить еще несколько образов. Например, изумрудную бурю. Сильный ветер поднял в воздух пыль, и благодаря отраженному вечернему свету и надвигающемуся грозовому фронту все казалось каким-то нереальным, неестественным, точно ты смотрел на мир через специальные водительские очки. Бледно-сиреневые грозы сверкали в грязной толще облаков. Завораживающе. И как прогулял пару дней. Ужасно себя чувствовал тогда: раскалывалась голова, тошнило. Думал, что рухнет замертво прямо в вагоне метро, и в этот самый момент, когда мысль еще не остыла, падает молодой человек напротив, бьется головой об двери. Падает, точно сраженный в бою, прямоком в ноги Рубашову. Все пассажиры засуетились, но подняли павшего, отряхнули, уступили место, кто-то вызвал скорую. Но тот отказался от услуг и вышел на следующей станции. Как будто чашка разбилась в кафе. Была в этом праздная рутина, которую заслонят другие воспоминания. Как те школьники на экскурсии. Это было в апреле. Рубашов гулял по городу, заходил то в один торговый центр, то в другой. Хотел скрасить время в кинотеатре, но ничего интересного в репертуаре не было. Прилично тогда прошел. Никак не мог найти себе место в огромном городе. Домой не мог вернуться. Хотел избежать расспросов и сомнений. Рубашов так же ходил по городу, когда прогуливал занятия в институте. Удивительным образом тогда сочетались чувства вины, обжигающего одиночества и условной свободы.

Еще за время работы он запомнил слепую дворнягу. Он написал об этом в романе. Черная дворняга, хромая, спотыкающаяся, несколько раз ударилась о железный забор на территории офиса. Вся морда ее была в ссадинах, а нос протерт. Еще помнит, как несколько раз сладко засыпал на рабочем месте, видел, как засыпали другие. Еще помнит одну девушку, кажется, она занималась дизайном или чем-то в этом

роде – разъезжала на синей Вольво, ярко одевалась, громко говорила, всегда была в отличном настроении. Такие люди, по мнению Рубашова, имеют учетные записи во всех социальных сетях, выкладывают тысячи своих фотографии, всегда в курсе всех событий; имеют, как им кажется, на все собственное мнение. Рубашов завидовал таким. И эта девушка во время перекура рассказывала подружкам-коллегам о своих планах по покупке яхты.

«Подумаешь, какое дело, – сказал про себя подслушивающий Рубашов, – я вот планирую купить себе двадцать поездок на метро».

Вот, пожалуй, и все. После разговора с главным он подошел к руководителю отдела Свете, которая заняла эту должность пару дней назад. За три недели она подписала крупный контракт, плакала из-за смерти своего кота, получила повышение. Он сказал, что все документы и списки отправил ей на почту, в них легко разобраться.

– А чего решил уйти?

– Плохо работаю.

Она предложила ему остаться, говорила, что по нему будут скучать. Он спрашивал: кто будет? Здесь меня никто не знает.

В четыре часа Рубашов сложил портфель и смиренно ждал ухода начальства. Больше его ботинки не будут здесь скрипеть. Через пару дней встретился со своим товарищем и отдал ему долг в тридцать тысяч. Долг был первой причиной там работать.

Вновь Рубашов споткнулся. Он думает, что если начнет повествования со дня увольнения, то дальше ему придется рассказать про переезд. Но здесь вступают в роман основные действующие лица, очень дорогие самому Рубашову. Рождается проблема творчества. Рубашов не замечал этого раньше или подсознательно не хотел замечать. Раз он хотел писать про себя, то неминуемо напишет про людей из ближайшего окружения, ибо кто он есть без них? Но, разумеется, изменить имена будет недостаточно. Окружение узнает себя на страницах книги, если она когда-нибудь будет закончена и издана, и скорее всего, не придет в восторг от написанного. Рубашов может отшучиваться сколько угодно, например (находит в записных книжках ветхий афоризм): если о тебе не говорят ничего хорошего, то ты все еще жив. Но эта проблема не дает ему покоя. Он задумывается: насколько искренним может быть искусство? Приходят на ум старые выводы. Рубашов любит искусство за правду, за истину, ее нет больше нигде. Художник не может врать в своем творчестве, и даже, если он постарается, ложь всегда заметят. Но здесь истина – внутреннее состояние, душа, если угодно. А душа всегда печальна. Художник – это наблюдатель. Он шестое чувство этого мира. С этим, как предполагает Рубашов, никто не будет спорить. Но есть и вторая часть искусства, особенно она видна в литературе. Если художник использует для истории реальных людей, не их видоизмененные образы, точно он пишет автобиографию, то как же здесь, в таком случае, избежать недовольства?

Риск предполагает определенную ответственность. В работе над первым романом он с этим не сталкивался. На его страницах, конечно, было много личного, в особенности страхов и боли, но выдуманная история соразмерно распределяла все

личное между персонажами, которые, в свою очередь, были разными гранями одного Рубашова. Здесь же иначе. Рубашов всю жизнь свою боялся кого-нибудь обидеть, кому-нибудь не понравиться, боялся, что его неправильно поймут, что его действия воспримут иначе, чем его побуждения. Боялся и перетекал из одного состояния в другое, как змея, стараясь всем угодить. Не ради какой-то конкретной награды, но по собственной расклеенной воле. Ничего из этого не вышло, он сам понимает. Остались недовольные. Рубашов хранит в памяти каждый косой взгляд в свою сторону, каждую обиду на него. Уже непосильную ношу тащит за собой и вроде как понимает, что это скорее слабость. И весь либерализм, думает он, берется от плохой самооценки. Не угодишь тут всем, да и как угодить, если самого господа бога критикуют? Рубашов просто боялся раскрыться. Да и не готово, он думает, все человечество принимать сынов своих как есть, иначе откуда берут свое начало все нормы и правила? Да и не каждый человек способен честно заглянуть в свои собственные глаза: что он там увидит?

Вторая причина там работать – это деньги, необходимые на переезд. В середине раскаленного дня он поделился замыслами с матерью.

- Какой переезд, – спросила мать, – куда?
- В Чкалов. Мы с Арловой давно хотели переехать.
- А где там жить?
- Ее подруга сдает однокомнатную. Мы договорились.
- А деньги?
- Я откладывал на этой работе, и она откладывала.

Так не пойдет, он думает. Не имеет смысла писать такие простые диалоги. Рубашов еще лет в пятнадцать додумался до того, что все персонажи всех литературных жанров должны обладать своим собственным слогом. Гипотеза основывалась на наблюдениях. Ведь все люди говорят по-своему, каждый по-своему расставляет слова во фразах, не говоря уж о тональностях голосов, передать которые невозможно. Так отчего же на страницах все говорят как по шаблону? А в последнее время говорят как-то невыразительно и сухо. Рубашова особенно раздражали паразитирующие «просто» и «ну». А если они выстраивались в шеренгу, справа и слева от «супер», то это больше напоминало скрежет ножа по стеклу, а не язык, предложения, смысл. Но если записывать чужие голоса на диктофон и в таком же виде все перебрасывать на бумагу, как это недавно попробовал Рубашов, то получается белиберда. С другой стороны, подумал сейчас Рубашов, возможно, это будет ЭКГ косноязычных мыслей. Когда он пролистывал в книжных магазинах толстые бестселлеры, то замечал в них особенно много диалогов. В частности, это касалось фантастики. Для Рубашова было фантастикой то, как можно так много писать. Однажды он читал блог современного автора, который советовал молодым писать больше диалогов. В этом был смысл. Одно слово – одно предложение.

- Что?
- Ничего, – ответил он.
- Нет, ты что-то сказал.

— Ничего я не говорил.

— Нет! Я точно слышала!

— У тебя галлюцинации!

— У меня? Ну это просто супер! Это у тебя галлюцинации, раз ты говорил и не помнишь.

Семь строчек, тридцать слов, треть страницы, никакого смысла, если только автору не платят за каждое слово или строчку. Много проблем с этой литературой.

Он помнит, что мать тогда долго плакала. И в течение нескольких последующих дней практически не выходила из спальни. Странно работает память: все как ладони, но в нерешительном молчании.

Он жаждал переезда. Не мог более выносить знакомого вида из окна. Трехэтажную школу, затерянную среди двенадцатиэтажных панельных домов, летние закаты по левую руку — над одиннадцатым подъездом на восемь часов, восходы, соответственно, по правую — на час. Уже стали раздражать скользящие по рельсам трамваи. Они начинали звенеть под домом в десять минут пятого утра и скользили навстречу этой большой лампочке в холодном небе. Ослепленные далекой звездой, думы водителей оставались неразрешенной загадкой. И детская площадка под окнами, с характерным звоном стеклянных бутылок. Бывшие одноклассники в доме напротив, с которыми некогда Рубашов имел отношения, водил хороводы, встречался, терпеть не мог этого слова, а теперь и вовсе не здоровается. Все вокруг делают вид, что не знакомы друг с другом, и готовы проделать крюк в несколько сотен метров лишь для того, чтобы не столкнуться лицом к лицу с воспоминаниями. Да и сам Рубашов стер не одну пару ботинок на этом. Правда, вечера были прекрасны. Но Рубашов не знал еще ни одного места, где бы вечер был так себе.

Он хотел переехать из своей комнаты. Все в ней было чудно: и красные обои, и белый шкаф, и синий диван, и небольшая библиотека, и тот злосчастный телевизор, за который Рубашов выплачивал долг товарищу, и собственные картины, пыльные и незаконченные, выглядывающие из-за шкафа. Но она стала слишком тесной. И черт с ними, с пятнадцатью метрами, кричит Рубашов, сейчас и того меньше. Она хранила слишком много воспоминаний. Запахи всех людей, бывших тут, спиртных напитков, здесь выпитых, слез пролитых, разных проблем, решенных или забытых, над которыми переживал Рубашов, несколько слоев обоев, ковров, мебели и неизменный пейзаж за окном — в начале деревянным, затем пластиковым.

Рубашов любил перемены, исходящие от него самого, но не от окружения. Он еще никогда не просыпался тем же человеком, которым ложился спать. И из-за непосильной любви к переменам ему пришлось отказаться от многих привычек. Но некоторые привычки так укоренились в нем, — например кофе с сигаретой по утрам (только это сочетание способно было отогнать сон), — что невозможно было от них полностью отделаться. Приходилось их видоизменять. Пить другой кофе, например. Вторая натура, говорят. В одном фильме главный герой сказал: или мы избавимся от них, или они от нас. Все привычки вредны.

Он не чувствовал себя там, как дома. Хотя по паспорту, во всяком случае, так оно и было. Это еще один хороший вопрос: чувствовал ли когда-нибудь себя Рубашов

дома как дома? В пятнадцатиметровой щепетильности не клеились отношения с семьей. Никаких скандалов и ссор, но недосказанность и натянутость. Теснота.

— А как же работа? Где ты будешь работать?

— Найду там или буду работать здесь.

Через несколько дней она стала искать работу там, но нашла только технические вакансии, никак не подходящие гуманитарию Рубашову. Был такой анекдот, совершенно не смешной: что вы скажите молодым выпускникам гуманитарных вузов? Капуччино с собой. Рубашова отсутствие работы совсем не пугало. В крайнем случае, всегда существовали салоны сотовой связи, куда, кажется, брали даже мертвецов. Но даже тогда, еще до переезда, это был совсем крайний вариант. Под дулом заряженного пистолета едва ли он бы решился.

* * *

В восемнадцать лет он чуть было не устроился в такой салон. Он еще не знал. Наивность, как метко подметил Рубашов, бледно-розового цвета, застила шелковым платком наблюдательность и критический разум. Исключенный за неуспеваемость и прогулы с третьего курса, он должен был тогда догадаться, что цветная реклама практически во всех газетах и сайтах, с обещаниями гигантских денег и мраморной карьерной лестницы, а то и эскалатора, не сулит ничего хорошего. По телефону у него спросили только возраст и гражданство. Пригласили на собеседование на следующий день где-то очень далеко от дома. На задворках, как потом выяснилось. Тогда еще чрезмерно пунктуальный, Рубашов приехал на полтора часа раньше условленного времени, решив, что не спеша найдет офис и сможет акклиматизироваться. Захваченная с собой карта только путала и пугала подробностями. Пришлось обратиться за помощью к какому-то мужчине. Он еще не знал, что дорогу следует спрашивать только у женщин. Мужчина охотно согласился, водил Рубашова дворами и рассказывал стихи. Кажется, Ахматову. Наконец любитель поэзии вывел Рубашова к нужному дому и спросил у него сто рублей за свои услуги. К Рубашову как минимум раз в день обращались люди с просьбой «выручить» монетой, прикурить, узнать дорогу или просто поболтать. Серьезно, каждый день. Но спрашивать сто рублей — это было впервые.

— Откуда у меня сто рублей?

— Ну ты молодой, одет хорошо. Я стихи читал. И дорогу показал.

— Я на работу иду устраиваться, потому что денег нет.

— А пятьдесят есть?

— Десять, остальное на дорогу до дома.

Чтец был недоволен маленьким кушем, но все-таки взял десять рублей. Рубашов стоял перед входом в огромное здание старой постройки, похожее на один из корпусов бывшего завода. У входа толпились молодые парни и девушки. Через полчаса вышла женщина и попросила тех из собравшихся, кто пришел на собеседование, пройти за ней. Все пошли за ней. К тому времени собралось уже около сотни молодых людей. Первый этаж здания был свежестроен. Впечатляло. Рубашов только потом узнал, что первый этаж был эпицентром дорогостоящего ремонта, остальные пять зацепило его взрывной волной: кое-где попадались новые стулья и новые потол-

ки, во всем остальном – как тридцать лет назад. Их разделили на группы по двадцать человек, и развели по отдельным залам. В залах они расселись, слушали историю компании. Типичная история одного человека, который начинал с малого в девятых и после стольких лет усердной работы построил целую корпорацию. Рассказывала ее молодая девчонка — выученным текстом, с неслучайными акцентами на некоторых предложениях. Она делала это так бодро и выразительно, как будто была лучшей подружкой каждого из присутствующих, а президента компании знала лично, буквально обедала с ним полчаса назад. Затем говорила о перспективах работы в их компании, приводя в качестве примера первых лиц этой компании, которые некогда начинали —

– Как вы, с простых продаж в рознице!

Пример был настолько убедительным, что каждый из слушателей представлял себе, как он работает в ларьке около метро всего пару лет, делает сногшибательную прибыль и ходит среди больших лиц, и отдыхает на островах, и видит себя на обороте Форбса.

Рубашов сидел в самом конце зала и видел облака, как в комиксах, над головами всех двадцати четырех голов. Там, в схематических картинках, изображались все вехи будущих карьер. И над его головой тоже. Далее кандидатам предлагалось заполнить небольшую анкету и рассказать немного про себя перед всеми: в частности, о причинах, пробудивших желание работать именно здесь. Белоснежная ложь, разумеется, приветствовалась. Он вышел самым последним, представился.

– Восемнадцать лет. Эта моя первая работа. Мне хочется работать здесь, потому что мне нравится фирменный стиль компании, его цветовая гамма.

Больше ему ничего не приходило на ум. Тогда он не мог сказать, что это была первая попавшаяся фирма, не более того.

– Только поэтому? – спросила у него ведущая с ехидной улыбкой и посмотрела на людей в зале. Зал хихикнул, как по сигналу.

– Ну, это очень важно, как мне кажется. То, как компания выглядит... подает себя. Из всех конкурентов свой мобильный телефон я покупал именно здесь. А раз мне нравится компания как клиенту, то она понравится мне как и работнику.

Что-то в мозгу у девчонки звякнуло. Это была логика. Она кивком разрешила ему сесть на место. Прошедшим первый отбор позвонят и пригласят на обучение.

Рубашову позвонили. Сказали, что обучение начнется завтра, в субботу, в двенадцать часов. На обучении было всего человек двенадцать. Первые два дня – психологический тренинг, остальные пять – обучение по сотовым телефон, с промежуточной аттестацией и итоговым экзаменом. Только в случае успешной сдачи оставшихся ждало скромное денежное вознаграждение. Еще один анекдот всплыл из расщелины чужих шуток Рубашова: он был настолько скромным, что до пятнадцати лет не знал, мальчик он или девочка. Так и премия не могла определиться – маленькая она до смешного или до грустного. А после премии следовала двухмесячная стажировка. И уж потом, если звезды сойдутся в твоём астрологическом знаке и рак на горе сыграет на флейте, тебя могли, только могли оставить на работе. С трехмесячным испытательным сроком. Комиксовые облака превращались в серые грозовые тучки.

Впрочем, не у всех. Их тренинг-менеджер говорила им что-то про школу жизни, про то, что работают у них только самые лучшие. Рубашову послышалась главная тема из фильма «Рокки», под которую итальянский жеребец бегал по городу и бил свиные туши. На тренинге они кричали изо всех сил:

– МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ ОДНА КОМАНДА!

Так громко, что никто не слышал собственного голоса. Но в этом и был весь смысл. Кричали очень часто. После нескольких психологических тестов, призванных определить тип темперамента тренируемых, их распределили на четыре группы.

– МЫ ОДНА КОМАНДА!

Каждому участнику одной из четырех групп предлагалось выполнить специальное задание. Самым крикливым шутникам, обожающим быть в центре внимания необходимо вытереть рукавом своей майки обувь другого человека. Рубашов сделал бы это без всяких проблем и без удовольствия. Ничего ужасного для самого себя он в этом не видел. Но он и не был в той категории, для которых это действие было страшнее смерти. Справились не все. Те, кто не смог, покинули курсы. Рубашову и двум другим тихоням требовалось рассмешить всех оставшихся участников. Вот что было выше его сил.

– МЫ ОДНА КОМАНДА!

Тогда еще у Рубашова были длинные волосы до плеч. Кто-то из участников предложил ему прорекламирровать шампунь. Он изобразил себя моющейся в душе Марией. Вошел в раж. Он уже давно заметил, что чем большего идиота из себя делаешь, тем больше это всем нравится. Никакого труда вытереть своей майкой чужие ботинки ему не стоило. Затем он исполнил роль Хулио, который вошел в душевую кабинку к Марии и неожиданно для себя заметил, что она пользуется другим шампунем. Все были в восторге. Сам Рубашов искренне не понимал, что такого смешного во всем этом идиотизме.

– МЫ ОДНА КОМАНДА!

На тренинге их спрашивали о причинах работы. Нужно было сказать что-то конкретное, например: я работаю, чтобы купить себе фотоаппарат. Еще им говорили, что никто из них никому ничего не должен. Причем твердили об этом очень навязчиво.

– МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НИЧЕГО НИКОМУ НЕ ДОЛЖНЫ!

Рубашов, как он считает, должен отдать должное этим тренингам. Он почувствовал себя лучше, его мысли стали ходить как часы, а мечты переливаться золотом. Он приходил домой около часа ночи. А на третий день начались лекции о телефонах. Уже никто не кричал, только смиренно записывал в блокнот. Из его группы осталось человек пять. Их объединили с остальными участниками из других групп. Поэтому в зале набралось человек пятьдесят. На первом этаже по-прежнему ждали своей очереди толпы молодых людей. Рубашов понял вдруг, что ему наплевать на все телефоны, и даже более того, и на четвертый день не пришел.

Он не скучал по тем людям, с которыми успел познакомиться и ходил на перекуры и обеды. Был среди всех один парень, ему пришлось своей банданой вытирать другому ботинки, он еще был женат и всем показывал фотографию годовалой дочки.

Рубашов уже не помнит его имени. Хороший парень. Он мечтал купить себе джинсы за семнадцать тысяч. Была во всем этом лживость.

Вот так он не стал работать в салоне сотовой связи. И тогда, перед переездом, он рассматривал эту возможность, как самую крайнюю.

В очередной раз что-то не клеилось с повествованием.

«Лживость», – подумал Рубашов. Вчера, в порыве вдохновения пустой квартиры и липкой субботы он говорил о лживости. Восстанавливая в памяти некоторые события своей жизни, он видел себя семнадцатилетним юношей, который только вкусил запретный плод, но не распробовал. Поэтому он чувствовал ложь, но не ведал правды. Минуло столько лет, и ничто не поменялось. Чувствует Рубашов, что он давно попал в западню, а теперь еще и в западню собственного романа. Замечает Рубашов, что если и дальше пойдет по такому пути, то это приведет его только к очередной посредственности. Возможно, иметь план и действовать согласно его пунктам не так уж и плохо. Как в жизни, так и в работе над книгой. Но он не помнит, чтобы у кого ни будь из его знакомых был бы план на годы жизни. Разве что на ближайшую пятницу. Была одна девушка в жизни Рубашова, уверенная только в двух вещах: во-первых, она потеряет девственность только после восемнадцати лет, а во-вторых, выйдет замуж и родит ребенка только после того, как сделает карьеру. Смотри, не перепутай, сказал ей тогда Рубашов. С тех пор он ее не видел. Мог он так, словом, обрубить связи разной прочности. Почему рубил, не знает. Все из-за той пресловутой лживости?

24

То были не ее слова. Их ей подсказала мать. У нее не было отца. Когда Рубашов пришел в институт, то практически у каждого второго была неполная семья. Главной причиной был развод, второй по популярности – смерть одного родителя. Отцы умирают чаще. Дети изо всех сил старались не повторять ошибок родителей, подсознательно по своей воле, иногда им так и говорили: не повторяйте наших ошибок! У многих это было навязчивой идеей. Возможно, этим объясняются слезы над тройкой того мальчика из его класса? Следование совету приводило к удивительным результатам. На заре двадцати лет у многих его одноклассников появлялся живот, залысина, реже машина и свой бизнес, консерватизм в делах и мыслях. Многие пугающе быстро старели. Для некоторых родителей дети были как бы вторым шансом добиться чего-либо в жизни. Не продолжением, а именно второй попыткой. Сами они ни во что не верили.

Сейчас у книги начинает появляться свой ритм, и это рискует надоесть читателю через несколько страниц. Самый примитивный и навязчивый из всех ритмов. Раз-два, раз-два. Воспоминание – размышление, воспоминание – размышление, целый авторский лист без героев, только спекуляции вокруг оговоренной еще в начале темы. Черт его знает, думает Рубашов, возможно так и должно быть.

– У тебя никогда не было такого чувства, словно ты в западне? – поинтересовался Рубашов.

Поручик сказал, что, возможно, такое чувство и было. Но ему требуется больше информации для более точного ответа.

– Как будто ты бежишь марафон вместе со всеми. Все, как подобает: кроссовки, до вульгарности короткие шорты... Ты даже думаешь про специальный лифчик для... – Рубашов указывает на область ниже пупка, – я не ханжа, но когда размах маятника мешает тебе сосредоточиться... и таблички с номерами на груди, и майки-«алкоголички»...

– Ага, – поручик понимает.

– И таких, как ты – десятки тысяч людей. Вы бежите. На бегу пьете воду из специальных стаканчиков и бежите очень медленно, потому что вас всех очень много. И вдруг ты понимаешь, что тебе все это не интересно. Ни марафон, ни форма, ни остальные. Что тебе абсолютно наплевать на все это. Возможно, что все жизнь ты мечтал заниматься, например, плаванием. Но не бегом. Вот ты любишь бегать?

– Нет.

– И я не люблю бегать. Я же курю, поэтому бег мне противопоказан. И все ноги ты разбил маятником. И думаешь, чего ты бежишь, куда, зачем? Решаешь прекратить, но никак не можешь выйти.

– Почему?

– Много народу, настоящая давка. Десятки тысяч бегунов, я говорил. И все озера в округе залили асфальтом, чтобы места для бега было больше. И для паркинга. Понимаешь? Было у тебя такое чувство?

– Да каждый день, по дороге на работу.

– Вот, вот именно.

Рубашов раскрыл окно пошире и прикурил еще одну.

– Кстати, – говорит поручик, – ты Довлатова прочитал?

– Только «Соло на IBM». Частично.

– Ну и как тебе?

– Ты знаешь, я предпочитаю оркестры... – и взмахнул руками, как дирижер.

Рубашов сидит перед экраном. Он бежит за каждой новой идеей, начинает ее записывать, убирать все лишнее, как скульптор, пока идея не станет такой тонкой и хрупкой, что сломается в руках.

Вернулась Арлова с вечерней прогулки. Она спрашивает, что с ним. Он уходит от ответа, как может, но она без боя не сдается:

– Не хочешь идти завтра на работу?

– А когда я хотел?

– Так не ходи.

– В понедельник я тоже не хочу.

– Так уходи вообще оттуда, – она не понимает в чем здесь может быть проблема. Рубашов закипает, но не от расспросов, а от того, что придется делать дальше.

– Да, и опять я буду несколько треклятых лет искать убогую должность, и получать жалкие гроши, и так же ненавидеть ее.

– Позвони завтра в багетную мастерскую, – Арлова старается найти решение.

– И за пятнадцать тысяч я буду делать рамки, – Рубашов все смотрит в пол и, кажется, уже выжег в нем дырку. Он сам сейчас весь воспламенится.

– А тебе нравится за тринадцать делать очки?

– Нет, я искренне ненавижу эту работу. Каждый день там, как смертная казнь.

От одной только мысли, что он придет завтра в магазин, он готов удавиться. Он проходит в комнату и надевает штаны.

– Ты куда?

– За сигаретами.

– Завтра купишь, – она не хочет, чтобы он уходил.

– Сегодня надо, – бурчит Рубашов. С таким настроением он рисковал не дожить до завтра.

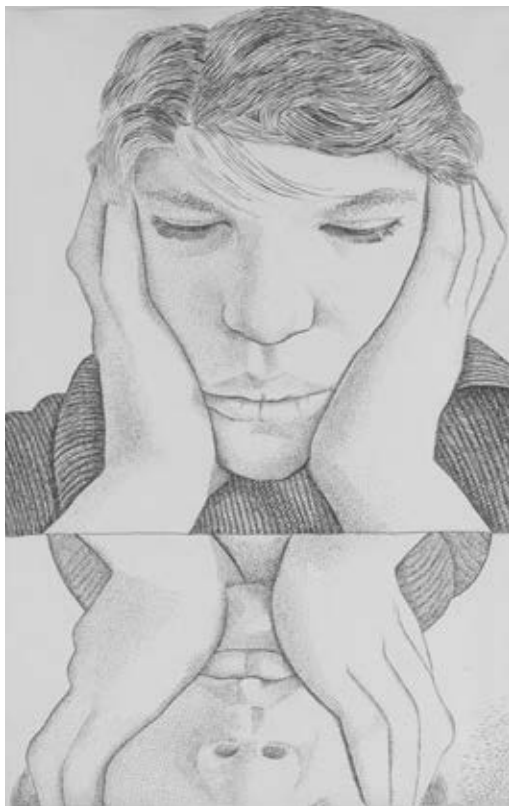
С запада идет грозовой фронт, чернее самой тьмы. Дождь не помешает, если, конечно, он не успеет испариться прежде, чем достигнет земли.

Рубашов, зажатый в тисках, хочет орать во все горло. Он больше не знает, что делать со своей жизнью. Все ему кажется тщетным, каждый новый день самоубийством. Он не знает, то ли это паническая атака, то ли новый приступ отчаяния, которые в последнее время только участились, то ли нервный срыв, он не знает, да и ему наплевать. Ему следует обратиться к психологу. Но если тот посоветует всякие книжонки типа «путь к счастью», то Рубашов задушит его там же. Дойдя до супермаркета, он немного успокаивается. В холодильной камере лежат пельмени от ста рублей до пятисот. Вообще, разнообразие товаров впечатляет, есть на любой вкус. Но больше впечатляет свобода выбора. Например, на сто рублей можно купить два литра молока или пачку самых дешевых пельменей, или газировку, или пачку сигарет, или бутылку водки, или несколько банок пива. Алкоголя всегда можно купить больше, чем продуктов на ту же сумму. А какой большой ассортимент... сотня способов признаться в любви к собственной печени. А когда алкоголь такой дешевый и разнообразный, как в этом магазине, то Рубашов невольно задается вопросом: может быть, ему на что-то намекают? Еще никогда прежде стать алкоголиком не было так просто.

И что он так тянет, думает Рубашов, с этим переездом в романе? Давно бы уже собрал вещи и в течение трех предложений обосновался бы в Чкалове. Сделал бы там косметический ремонт на отложенные деньги. Прележал бы в постели с температурой, а к концу лета пошел бы на собеседование по первому попавшемуся объявлению. В магазин продуктов питания. Повествование должно быть размеренным, без резких скачков во времени, это Рубашов понимает. Может, с этого следует начать роман? Не с желания переехать и не с разговора с начальством, а с того собеседования? Он уже думал об этом, но тогда ему не понравилось, что сразу откроются многие подробности его жизни, что было бы еще хуже, чем повествование от первого лица. Дешевый прием. Самое сложное в книге, по мнению Рубашова, это начало.

Первые несколько предложений. Важно какие они, о чем. Причем, важны как сами предложения, так и то, что за ними скрывается. С чего может начинаться книга? С действия главного героя, с его мысли, с описания места или погоды, которая, в свою очередь, будет мостиком ко всей последующей истории. Как в «Судьбе человека». Вдруг он вспомнил, как экспромтом отвечал в институте на эту тему. Однокурсница была раздосадована тем, что ей не поставили «отлично» только за то, что она прочитала повесть. С последним предложением все просто. Оно уже было готово; к тому же, последнее предложение – эта та мысль, что останется в голове у читателя, это общее впечатление, которым можно управлять. Возможно, это вообще самое главное в книге. Рубашов научился этому у кино. Макки еще говорил: удивите зрителя в конце, и он ваш. Он простит все ошибки, которые были в начале. Поэтому Рубашов всегда стремился выступать в конце, если не был уверен в своих силах. Так ты можешь проанализировать выступления первых, найти их слабые стороны. И все всегда запоминают только то, что было в конце. Ни одна книга не должна начинаться с диалога. Совершенно непрофессионально! Фильм – другое дело. Там есть голоса. Но он не вспомнит навскидку самое лучшее начало, которое когда-либо читал в какой-либо книге. Разве что у Мелвилла... Зовите меня Измаил. Мощно, как гром. Подобное начало вообще свойственно романтизму. Когда автор знает всю историю, это тоже плохо. Начало таких книг бывает приблизительно следующим: «Эта история произошла...» или «Это случилось...» Здесь автор объективен, как парящий дух. В идеале, роман должен начинаться как любовное письмо. Рубашов не помнит, кто это сказал. Ты должен писать любовное письмо не зная, чем оно кончится,

и заканчивать, не помня чего начал. Он писал как-то любовное письмо. Правда, та получательница была счастлива в браке и в воспитании годовалого плода чудесного союза. Хотя он не уверен, что видел обручальное кольцо. Его знакомая однокурсница носила кольцо на работе, чтобы мужчины к ней не приставали. Поэтому это ровным счетом ничего не значит, оправдывается он. Но кольцо не интересовало Рубашова, главным было само письмо. Только почему сейчас Рубашов думает о любовной лирике, когда еще десять минут назад хотел было залезть в петлю, лишь бы не ходить на работу, в эту темницу? Вспоминая короткий сонет с Арловой, он думает, что, может быть, вообще не бывает никаких проблем, может, все то, что мы называем проблемами – только плод страдальческого воображения? Не хочешь идти на работу, так и черт с ней, не ходи. Совсем недавно он радовался чувству свободы. Как только устроился на последнее место, он говорил себе, что сможет уйти, как только



Lucian Freud: "Narcissus", 1948.

захочет. В этом, вероятно, и заключена молодость. Живешь чувствами, а не последствиями. А чем Рубашов заплатит за квартиру, если не выйдет на работу? Лирикой? О билет центрального банка, ты не слышишь моего вечного зова. О, безликий билет, ты так похож на открытку.

После переезда он устроился в продуктовый магазин. На тридцати каменных метрах сталинского ампира, продавали итальянские и французские вина, сырокопченое мясо, сыры и конфеты, по четвергам пирожные и свежую выпечку, стояло несколько столиков для посетителей. Точнее, иллюзию свежей выпечки – весь хлеб и булочки привозили глубокомороженным полуфабрикатом. Рубашов проговорил с директором этого магазина полтора часа подряд. Директора звали Натальей: несмотря на разницу в возрасте, она просила, чтобы ее называли именно так. Никаких отчеств в отечестве. Полтора часа в конце августа они переминались с ноги на ногу и боролись с желанием покурить, потому что культура общения боролась с удобством и привычками. В начале разговора Рубашов задавал Наталье разные «технические» вопросы, чтобы произвести впечатление опытного специалиста: как проводится инкассация, когда производится прием товара, время открытия и закрытия магазина, какая стоит касса, кто заполняет отчеты в конце дня и прочее. Она отвечала без удовольствия, просила рассказать о себе. Он говорил, что успел пожить в северной Европе и это придает его характеру нордические ноты, что он изучал искусство и рекламу, увлекается литературой и кинематографом. И что они с невестой переехали в Чкалов буквально месяц назад. Она здесь учится, а он бежал из переполненной столицы в поисках самостоятельной жизни. Она спросила:

– Ну и как самостоятельная жизнь?

Он ответил, что пока ничего особенного.

Затем они перешли на тему культуры обслуживания в целом, а в частности, к тому, что культура обслуживания в родной стране хромает. Он рассказывал, что однажды ему пришлось извиниться за свое существование перед одной продавщицей, которая буквально швырнула в него пачку сигарет.

– Вы курите? – спросила Наталья.

– Курю, – ответил Рубашов.

Они продолжили разговор в мягком дыму Вирджинии. Она говорила, что клиентов не так много, но все – постоянные, своего рода «культурная элита Чкалова», и нередко бывает так, что все они приходят только для разговора.

– И много их?

– Кого? Разговоров или клиентов?

– Обоих. Возможно, следует взимать плату за разговоры? Или этот вопрос к капитализму?

– Это было бы неплохо, — ответила Наталья, — но чесать языком все любят бесплатно.

– Кстати, что по поводу зарплаты?

Ответ на последний вопрос Рубашову не понравился. Они с Натальей решили взять несколько дней для раздумий. Когда она ему позвонила, он отказался. Сказал, что зарплаты едва ли хватит на квартплату. Через неделю она предложила ему в два

раза больше. Он приступил немедленно.

К тому моменту он прошел около тридцати собеседований. Сейчас их уже около пятидесяти. Рубашов жалеет, что не записывал каждое из них. Половина заканчивалась расплывчатым «мы вам позвоним». Это было первым, где к нему отнеслись как к человеку. Он заметил, что стал уверенней в себе.

Уже на третий день он самостоятельно открывал магазин. Работали в магазине только он и Маша — девушка на три года младше Рубашова. Для нее это была первая работа, если не считать двух недель официанткой в забегаловке. В первый день Маша опоздала на полчаса. Когда она пришла, он попросил ее записать его номер, чтобы предупредить об опоздании в следующий раз. Бородатый идиот, так и запиши.

— Какая у тебя низкая самооценка.

— А ты посмотри на это с другой стороны. За каких-то три минуты ты узнала мой номер, мою самооценку и отношение к опозданиям.

Несмотря на то, что работа очень нравилась Рубашову, своим друзьям он старался о ней не рассказывать. Никак не мог совладать со своими амбициями. Стеснялся своего положения. Двадцать четыре года, а советует покупателям вино.

— Простите, это сухое вино?

— Настолько сухое, что аж высыпается из бутылки.

Но это продолжалось недолго. Он нравился покупателям, отлично выполнял свою работу. Поскольку клиентов было не так много, он мог спокойно работать над своим романом, практически за прилавком, и много читать. Почти каждый день в магазин приходила пара — Игорь и Елена. У них был свой магазин джинсовой одежды. Они подружились. Заказывали в основном кофе, несколько тоненьких кусочков пармской ветчины и сырную тарелку. Все съедали за столиком. Игорь и Елена близко знали Наталью, так что очень часто они все вчетвером курили у входа, разговаривая о том, о сем. Игорь узнал, что Рубашов работает над романом. Попросил дать ему почитать.

Маша продолжала опаздывать, но Рубашов не очень переживал по этому поводу. Демократическая лояльность руководства в лице единственного директора не позволяла наказывать опоздания рублем или выговором. Только призывала к совести сотрудников.

Отца у Маши не было. Отношения с матерью, недавно потерявшей высокую должность, были напряженными. Нередко Маша ругалась с ней по телефону в зале магазина. Частенько она приходила на работу после девичников: по ее выражению, со звоном в ушах после дискотеки. Уставшая, всклоченная с похмелья, она заваривала себе черный кофе, садилась напротив зеркала, включала погромче радио с танцевальной музыкой и принималась сначала стирать с себя свидетельство вчерашнего вечера ватными дисками, а после рисовать на лице бодрость.

Хотя Рубашов никогда не вел подобный образ жизни, и, возможно, в свои годы был излишне серьезен, но он всегда выглядел значительно хуже, и дело тут было не в косметике. Круги под глазами, серое лицо, русая борода, которая лишь недавно перестала напоминать лобковые волосы, потухший взгляд — все это создавало

впечатление уставшего и смертельно больного человека, страдающего бессонницей. С зеркалом у Рубашова отношения были мучительными: он не мог себя заставить специально смотреть на глубоко посаженные глаза, большой нос, эти щеки, эти скулы. Свое отражение он наблюдал лишь искоса, случайно, и если бы не носил бороды, то брился бы на ощупь. Он не обладал грубоватой внешностью настоящего мужчины, мужика, способного постоять за слабых, как например Чарльз Бронсон, но и не был смазливый красавчиком, как например, большинство звезд, звездочек, светил, желтых и красных карликов современности. Где-то на пороге заброшенной интеллигенции находился Рубашов. Сейчас он почесал густую бороду, вспомнив историю о Чарльзе Бронсоне. Рубашов не был уверен в ее правдивости, но ему очень хотелось, чтобы она была правдива. Однажды вечером в Нью-Йорке подошел к Чарльзу один бандит и сказал:

– Сейчас ты отдашь мне все свои деньги.

Но Бронсон не растерялся, обернулся и своим железным голосом ответил:

– Нет. Это ты сейчас отдашь мне все свои деньги.

Бандит выронил нож и убежал.

Раз в две-три недели Рубашов встречался со своими родителями, чаще всего на нейтральной территории. Они ходили в сетевой итальянский ресторан с неплохими ценами и японским меню. Сейчас повсюду суши и роллы: как однажды вошли эти суши в современные вкусы граждан, так больше и не хотят уходить. Рубашов пытался в свое время устроиться администратором в японское бистро. После того, как он прошел тест на уровень умственного коэффициента, у него спросили, как он относится к мигрантам из средней Азии, потому что мигранты из средней Азии готовили суши и роллы, к чему их подталкивал не столько талант, сколько внешность. Европейцу вообще трудно отличить японцев от китайцев, а корейцев от киргизов. Какая, хрен, разница, обычно говорил Рубашов, но не от того, что не мог различить, а от того, что был космополитом. Когда его спросили, он так и ответил: какая разница, люди как люди. Директор бистро посмотрел на Рубашова, затем на его результаты теста и сказал, что он тоже толерантно к ним относится, однако свою бы дочку замуж за киргиза не выдал.

– Какая разница, – повторил Рубашов. – Если любят друг друга, и жених – человек достойный, то я не вижу никакой проблемы.

Ему обещали позвонить.

Так вот, на одной из таких встреч, родители Рубашова сказали ему, что они им гордятся. Второй раз так сказали, но Рубашов не знал, второй ли раз они им гордятся или гордятся вообще. Еще они сказали, что с радостью оплатят его обучение на курсах сомелье. С дипломом он может далеко пойти. Рубашов кивал головой, говорил, что обязательно подумает. Но вино его совершенно не интересовало, как и весь алкоголь. Он не понимал его смысла и важности в обществе, возможно, потому что не чувствовал последствий его употребления. Рубашов никогда не терял контроля над собой, сколько бы он не пил. Все помнил. Мыслей в голове не становилось меньше после выпитого, не было легче на душе. Только тело было ватным, а сон – более глубоким. Еще Рубашов знал, что диплом не гарантирует далекого пути. Старшее поколе-

ние до сих пор думает, что высшее образование открывает больше дверей, чем среднее. Но на самом деле это не совсем так. Достаточно взглянуть на количество человек с высшим, которые работают не по той специальности, которую столько лет изучали. Исключение составляют разве что врачи. На это надеется Рубашов. И получили ли они свои должности благодаря диплому? Не врачи, а все остальные. Высшее образование до сих пор для Рубашова было лишь галочкой в анкетах. Иногда в требованиях некоторых компании к соискателю высшее указывалось как обязательное условие, но на этом все и заканчивалось. Конечно, в качестве исключения можно привести дипломы нашумевших вузов. Но и здесь встает логичный вопрос не о качестве образования, а о качестве связей абитуриентов. Рубашов очень сомневается в том, что выпускник такого университета будет искать работу в интернете или в газете. А может быть и будет. Ни в чем нельзя быть уверенным, уверен Рубашов. Вообще, в наше время быть в чем-то уверенным – значит располагать малым количеством информации. Отсутствие всяких гарантий – отличительная черта современности. У Рубашова был друг (сейчас они не поддерживают отношений), который пытался устроиться в адвокатскую контору.

- Какое у вас образование? – спросили его друга на собеседовании.
- Высшее, диплом с отличием. И среднее специальное. Юриспруденция.
- Иностранный язык?
- Английский, письменный и устный.
- Опыт работы?
- Три года в следственном отделе, три года на должности судебного пристава.
- Военный билет?
- Есть.
- Спорт?
- Бегаю. Обладатель приза за первое место по столице на недавнем марафоне.
- Права?
- «Конституционные», чуть было не ляпнул друг.
- Есть. Опыт вождения автомобилем – пять лет.
- Мы вам позвоним, – сказали ему.

Он купил дипломную работа за неделю до сдачи за пятнадцать тысяч рублей. Сдал на отлично.

Маша тоже получала высшее образование. По окончании обучения она должна была стать геодезистом, как и ее мать. Они обе с трудом представляли себе, что делают геодезисты. Однажды у Маши спросили, есть ли в магазине вина из других стран, или только из Италии.

- Не только из Италии. Есть еще из Венеции.

Рубашов провалился на месте. Женщина, задавшая этот вопрос, решила поправить:

- Вообще-то, – сказала она, – Венеция находится в Италии.

Маша, видевшая реакцию Рубашова, невозмутимо ответила:

— Я знаю. Мне слышалось, что вы спрашиваете о регионах. У нас есть вина из ЮАРа ... — и посмотрела на Рубашова, в поисках поддержки. Он кивнул. — Из Израиля, из Франции, — продолжила она, — из Тосканы и из Венето.

Маша была очень умной девушкой. Незнание географии говорит только о других интересах. Например, среди ее интересов были богатые молодые люди. Всякий раз, когда в магазин приходил мужчина до тридцати или чуть-чуть за тридцать, одетый «с иголки», державший в руках ключи от дорогой машины, Маша преображалась. Она кокетничала, улыбалась, строила глазки. Рубашова раздражали и такие мужчины, и поведение девушек, которые кружили вокруг них, как мотыльки вокруг лампочки. Ведь они с Рубашовым стояли по разные стороны одного прилавка, и когда мужчины видели перед собой красивые витрины, Рубашов смотрел на обратные стороны ценников, а когда они вынимали купюры из кошельков, Рубашов их только перекладывал в кассу. Все это изменится, как только он закончит свой роман, был уверен Рубашов.

Еще Маша увлекалась алкоголем. Когда Рубашов поинтересовался у нее, насколько прочно ее увлечение, она ответила:

— Ну в принципе, я выпиваю около одной бутылки водки в неделю и по одной банке пива в день. Не в смысле, что я пью по бутылке, а в смысле соотношения. Эквивалент.

— Эквивалент?

— Точно.

— А зачем? — интервьюировал Рубашов.

— Мне нравится.

— Пить или ощущения?

— Не знаю. Мне нравится вкус. И ощущения.

— И что ты чувствуешь, когда выпьешь?

— Ну, как будто мне легче, как будто я могу то, чего не могла на трезвую голову. Даже когда я сюда устраивалась, я не так нервничала. Такое чувство, как будто все можешь, и не так страшно.

Ацетилсалициловая кислота, нимесулид, метамизол натрия, парацетамол, диклофенак натрия, на закуску фабомотизол, чтобы не принимать все так близко к сердцу, страх и ненависть в Чкалове, мигрени и фрустрации Рубашова. Зимой, когда темнеет совсем рано, Рубашов, приняв несколько анальгетиков, решает вздремнуть часок в подсобке. Предупреждает Машу. Нет проблем, говорит она. Когда через сорок минут он возвращается в зал, Маша допивает последний глоток ламбруски, закусывая его кусочком полутвердого овечьего сыра с трюфелем.

— А что? — икает она. — Никого не было.

Когда Рубашов поступил в институт, он мог достать любые наркотики. Молодой Рубашов, из интеллигентной семьи, с опытом проживания за границей, с увлечениями и художественным вкусом, — через одного только человека он мог достать все что угодно. Причем через однокурсника. Рубашов и подумать не мог, что это настолько просто. Все, что хочешь: от травки, которую курили прямо в туалетах через пипетку, до амфитаминов, спидов, лед, кокаина и героина. По очень доступным ценам. Иног-

да даже были акции: при покупке двух пакетиков третий за полцены и так далее. Еще никогда прежде стать наркоманом не было так просто. Транс, хаус, индастриал, психоделика, техно, драм н бейс сотрясали липкий и прокуренный воздух на дискотеках. В моде были дорогие кеды, джинсы и спортивные кофты, большие солнцезащитные очки, громкое чавканье жвачками и карманные музыкальные плееры с выкрученными до максимума басами. Было модным во время разговора с кем-либо отбивать ногой ритм. До этого были в моде, но недолго, стрижки «под ежик», черные куртки, голубые джинсы, заправленные в высокие ботинки, а с другой стороны, урбанистическая преграда – широкие джинсы с заниженной талией, огромные кроссовки, или ботинки песочного цвета, йоуу, эмси, косячок. Были еще эмо, готы, металлисты, толкиенисты. Господи, думает Рубашов. И на каждую субкультуру приходился свой субнаркотик. И все это прошло мимо Рубашова. Но не мимо некоторых из его знакомых. Многих посадили за хранение и распространение. Выделялся один парень, его неплохо знал сам Рубашов. Вначале он устроился через своего знакомого на склад компьютерной техники очень известного бренда. Стал воровать оттуда в особо крупных и сбывать товар на соседнем рынке. Зарабатывал он так много, что уже через месяц «работы» подумывал о покупке автомобиля. Его уволили по подозрению. Доказательств никаких не было. Он знал, что ему повезло, и на радостях потратил все оставшееся деньги на развлечения. Затем, перед летней сессией родители дают ему крупную по тем временам сумму наличных на оплату следующего семестра. Все деньги он проигрывает в зале игровых автоматов, расположенном напротив института. Его родители в гневе, в наказание они посылают его на летние каникулы в далекую деревню к прабабке. Без копейки в кармане, он ходит по окрестностям деревни, пока совершенно случайно не находит целое поле дикой конопли. В конце своей ссылки он собирает несколько сумок конопли и успешно продает ее в своем же институте. Рецидивист. Говорят, он недавно вышел на свободу. Еще говорили, что некоторые преподаватели брали взятки, а один играл с учениками в покер на оценку в четверти. И опять все это не касалось Рубашова. За исключением разве что распития алкогольных напитков на детских площадках весной и начале осени, а зимой в подъездах. В основном пили коктейли. Они были дешевыми, сладкими и «быстрыми». Рубашов дважды ночевал в подъезде. Однажды знакомый разбудил его пинком под зад и сказал:

– Так можно и воспаление легких получить. С тех пор Рубашов терпеть не может зиму. Грязно.

Зимой к ним в магазин пришел один мужчина. Он долго о чем-то разговаривал с Натальей. Оказалось, что его зовут Евгением, он является владельцем нескольких магазинов в Чкалове, метит в местную думу и только что основал ежемесячный журнал «Дольче Вита», посвященный культурной жизни города и окрестностей. Поскольку культурной жизни в городе и окрестностях было не так много, журнал в большей степени рассказывал о новинках в его магазинах. Он предложил Наталье сотрудничество: в обмен на статью о шампанском и крохотную рекламу, они обязуются распространять журнал среди покупателей. И они распространяли.

В канун новогодних праздников объем продаж увеличился втрое. Покупатели толпились у входа по утрам в ожидании открытия магазина, совершали покупки в течение всего дня и умоляли отпустить им товар после закрытия кассовой смены. Наталья работала с Рубашовым и Машей. Рубашов резал мясо и помогал относить

винные ящики, Маша резала сыры и взвешивала печенье, Наталья выдавала сдачу. Маша к тому времени умудрялась опаздывать на несколько часов. В редкие минуты отдыха Рубашов рассказывал про свою первую работу. Вот где были большие продажи и огромное количество покупателей. Он тогда поставил личный рекорд: работал целый месяц по двенадцать часов без выходных, обедов и окон. Заработал семнадцать тысяч рублей. Когда спросил, отчего так мало, он же без выходных, ему сказали, что если не нравится, то он может написать заявление – на его место придут другие. Он написал, и на его место пришли другие.

А в феврале Наталья сказала, что магазин вскоре закроется. Совсем. Из-за арендной платы, она сказала. В качестве сувенира она вручила Рубашову бутылку лимонного ликера, в сторону которой он косился уже несколько месяцев, и со слезами на глазах поехала домой. В тот день он впервые в своей жизни выпил на работе. Дома его вырвало. Ликер был ужасен.

Сухо, решил Рубашов, так не пойдет. Он удалил все, над чем работал. Некоторые находки, случайные в основном, были неплохими. Например, неожиданно появляющиеся в романе персонажи, которые спустя пару предложений исчезали навсегда. Как в реальной жизни. Скольких он знал? Они приходили, знакомились, разделяли с ним время, крошки жизни, и исчезали. Рубашов и сам был мимолетным знакомым для многих других. Случайным человеком, с которым они ехали в лифте, работали, перекидывались парой фраз, что-то давали и что-то получали, в чью сторону смотрели и не видели. И он смотрел, но не замечал. Знакомился и прощался, улыбался и забывал.

Может, к черту всю писанину, мысли, образы, надежды, планы, мечты? Может, к черту амбиции, страхи, слова, память, музыку, кино, знания, воспоминания? Эти ужимки, эти улыбки, смех и шутки, беготню, деньги, обиды. Обиды. Непонимание, этот дым, и день сегодняшний, и завтра.

Эти вопросы, бесконечные вопросы: кажется, что ответы есть у всех, кроме тебя одного. Все всё прекрасно знают. Чего ты паришься, чего переживаешь, зачем об этом думать, ты брось об этом думать, говорят. Мне бы твои проблемы, говорят. Забирайте. Рубашов повторяет: уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Уж сколько их упало в эту бездну. Неужели и он падает? Остроумный Рубашов, всех смешит, а сам рыдает. Он пишет... Взгляните на него, он сидит за кухонным столом и пишет. Не имея ни гроша, он думает о начале второго романа. Он пишет, прогуливая работу. И что-то разъедает его изнутри.

Увозили товар, увозили холодильник и печь, он лично разбирает некоторую мебель. Хлопнули перед ним дверью. Тридцать метров сталинского ампира еще долго пустовали. Нет, Рубашов пока не отчаивается. Он пишет свой роман.

Однокомнатная квартира с незаконченным ремонтом пугает. Каждую неделю что-то ломается. Неделю они с Арловой жили без света, месяцы без горячей воды, при этом умудрились четыре раза затопить соседей холодной. Однажды Рубашов закрыл входную дверь другим ключом. Не было денег на ремонт холодильника. Когда накопили, холодильник стал охлаждать пустоту. Из-за строительства автодороги по дому пошли трещины. Соседи устраивают пикеты. Арлову кладут в больницу.

– Что-то вы все хилые, – говорят ему родители, – все болеете. Причем болезни все взрослые, что у тебя, что у Арловой, что у других. Питаетесь плохо, продукты ненатуральные, экологии нет, быстрый ритм жизни, интернет.

При чем тут интернет, размышляет Рубашов.

Навещая Арлову в больнице, он обещает ей, что совсем скоро все изменится, как только он закончит свой роман. Рубашов планирует участвовать в литературном конкурсе. Призовой фонд полмиллиона и публикация.

Он недавно отправил незаконченную рукопись своей преподавательнице. Он ей доверяет. Они как-то сошлись во мнениях относительно сравнительного анализа главных произведений Мильтона и Данте, и Рубашов рассчитывает на объективную оценку своего романа. Она отвечает, что роман ей очень понравился, однако еще предстоит над многим поработать. Отправляет ему список вопросов и замечаний. Рубашов доволен тем, что ничего нового из ее замечаний лично для себя не находит. С головой уходит в оставшуюся работу. Навещает Арлову, ее состояние улучшается, живет на деньги, которые дают ему родители, работу не ищет. Арлову выписывают. В начале лета они празднуют день рождения Рубашова в ресторане, в семейном кругу. Рубашову исполняется двадцать пять лет. На подаренные деньги он покупает себе дешевый диктофон, продукты и оплачивает квартиру. Через неделю он заканчивает редактировать свой первый роман. Еще через одну неделю он встречается с родителями на нейтральной территории, в итальянском ресторане с японским меню. Рубашов говорит:

– Несмотря на проблемы с работой, проблемы с деньгами, проблемы с отношениями и проблемы с квартирой, я не готов променять это время ни на какое другое.

Этими словами должна закончиться первая часть его второго романа. Это будет неплохо, думает Рубашов. То есть, таким образом, главный герой, Рубашов, невзирая на все сложности своей молодой жизни, все вопросы и проблемы, полон надежд и готов продолжать. Он найдет работу, думал тогда в ресторане Рубашов, опубликует книгу. Начнется его восхождение. Он простоит все двенадцать раундов с Аполло Кридом.

Книга будет от третьего лица. У книги уже есть герой, тема, последнее предложение и предложение, которое поделит книгу пополам.

– Я не готов променять это время ни на какое другое.

(Продолжение следует.)



Поэт, художник. Родился в Коми АССР. Живет в Санкт-Петербурге. Персональные выставки П. Лемтыбожа проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Публиковался в литературных журналах России, Украины, Финляндии. Автор четырех стихотворных и прозаических книг. Последняя: «Теоремы Пифагора» (2016).

«Петербургский писатель. Пишу. Рисую. Исследую малую форму, — понеже на крупную не хватает ни умения, ни терпению. Владею основами нетрадиционной математики. Знаю полтора языка и одно наречие. Курю табак. Живу в комнате. Автор книг. Высокомерен. Замкнут. Сердит. К русскому языку отношусь чувствительно и с должным пиететом. Был женат на женщине. Намерен продолжить».

(Автор о себе.)

Павлик Лемтыбож
Pavlik Lemtibozh

* * *

Жизнь венчает как бы пробка
удлиняет жизнь доска
вот предметное коробка
вот вселенное тоска.
вот на плиты мажут глянец
и кидают по земле
вот какой-то итальянец
ходит возле как во зле.

Жизнь связуют как бы тросы
развязуют жизнь овсы.
вот довольные матросы
носят пышные усы.
вот жандармы на прогулке
вот ресницы на глазу
вот куски засохшей булки
скучно плавают в тазу.

вот по площади к тому же
группа лиц кругом беже.
вот и женщина о муже
знает многое уже.
Мир стоит навроде лавки
восемь ног один сустав.
вот условия отправки
вот прибытия состав.

* * *

1) Я стою у ванны
маленький и голый академик.

2) Вода грохочет
кафельный пол хладен
на мне мурашки.

3) Мурашки словно салют на затылке
вспыхивают и затухают
вспыхивают и затухают.

4) И когда они вспыхивают я
(маленький и голый академик)
жмурю от удовольствия глаза
плачу от счастья слезы
и воздух дышу такою манерою
будто: я космос
нет мне конца
и никто меня взять не обучен.

* * *

В магазине, где рыбы,
лежат ледяные глыбы.

Говорю: «Мне, пожалуйста, килограмм льда».
А они говорят: «А ну пошел от сюда».

А я: «Пойду тогда за воздухом в отдел с птицею».
А они кричат: «Вызывайте милицию!»

А я говорю: «А это видали?»
И как улетел в предельные дали.

* * *

Женщина идет с пучком волос
женщина идет с пучком редиски
женщина проснулась в круглой миске
потому что тронулась в мороз.

Женщина идет с бедром в ногу
женщина идет с ногою в брюке
женщина оплакивает руки
и кричит кому-то: «помогите!»

ей необходимо помоге
ей невыносимо жить в докуке.

Женщина ногами простучи
брось на растопырку одеяло
так чтоб это тело засияло
и ушло в какие-то лучи
чтоб неторопливость матерьяла
чтоб незавершаемость плечи.



*Fernand Léger:
«Woman Holding a Vase», 1927.*

* * *

Я держал в японских банках
с рыбной жидкостью цветы:
все нарцисы все тюльпаны
все солому все траву.

«Я пойду еще нарву», —
я сказал фигуре смутной
и с печалию минутной
сдвинул ноги и подался
исполнять чего сказал.

Помню пес по праву руку
бегал с места не сходя.
Помню я вполне дознался
что такое пять времен.
Помню всадник без стремен
помню звезды без остатка
помню как мне было сладко
видеть вещи без имен.

* * *

Баржи баржи с цветною капустою
проплывают по пустырю
я спиною движенье их чувствую
и поэтому так говорю.
оглянуться не смею не пробую
как оглянешься — все пропадет.
и стою я в резиновой обуви
и смотрю деревянно вперед.

и скрипят — то ль борта то ль уключины
то ли кто-то клюкой по ведру.
и широкие серые брючины
словно парус гудят на ветру.

* * *

Голове твоей сообщает моя голова
неразумные вещи.
В руку твою вкладывает моя рука
длину изоленты.

Перечницу ставлю на стол,
масло туда же,
водружаю над маслом стяг замыслов.
Блеск люстор хрустальных
слышу и чувствую.

Хочу постичь единоначалие,
но постигаю многоконечность.
Хочу посмотреть на звезды далекие,
но смотрю на тьму вокруг них.
Ей, жители тихих миров,
пойте мотив, гудите мелодию,
намекайте на детское счастье.

Я надеваю атласный камзол
и головой своей
сообщаю твоей голове:
лучшее, что мы можем набить в свои сумы, —
это выпавший снег,
это голос в лесу,
это птичьи следы
на глиняных правилах жизни.

* * *

Оставьте все, как было, не снимайте со стены
портреты и утраты, что длинней своей длины,
не трогайте разбросанных в гармонии вещей,
не прикасайтесь к комнате деянием вообще.

Эй, кто там с мокрой тряпкою? эй, кто там с сургучом?
Не велено. Считайте, что в дверях палач с мечом,
и он не подкупается и никогда не спит...

Ах, был кувшин терпения, но он давно испит.

Оставьте все, как было и – оставьте все, как есть,
не вздумайте кого-нибудь еще сюда привести.

О, комната – животное, и чует чужака,
и хмурится всем телом — начиная с потолка.

Мир нипочем не кончится в масштабе: вечность – ты,
но комнаты кончаются, становятся пусты.

И в виде уважения к тому, куда грядешь, —
не трогай ни чернильницу, ни пепельницу тож.

* * *

Вижу голую Марию
Вижу голую Нинель
Вижу голую Елену
Вижу голых Александр.
Вижу голую Тамару
назовется Тамарис.
Вижу голую Татьяну
назовется исполать.

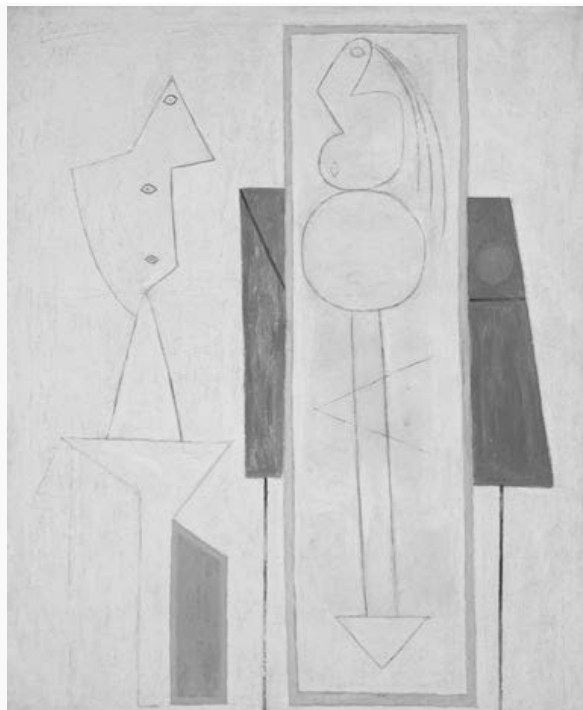
Вижу голую Диану
Вижу ящики в углу
Вижу машут мне мочалкой
две Светланы из пруда.
Вижу голую Настасью
с диадемой в волосах
Вижу голую Оксану
Вижу только голых баб.

* * *

Пойдем покурим, милый друг!
Сядь на бревно, сними каблук,

ослабь кушак, смахни треух,
переведи счастливо дух

и, чуя что-то впереди,
как в первый раз на все гляди.



Pablo Picasso: "The Studio", (1927-1928).

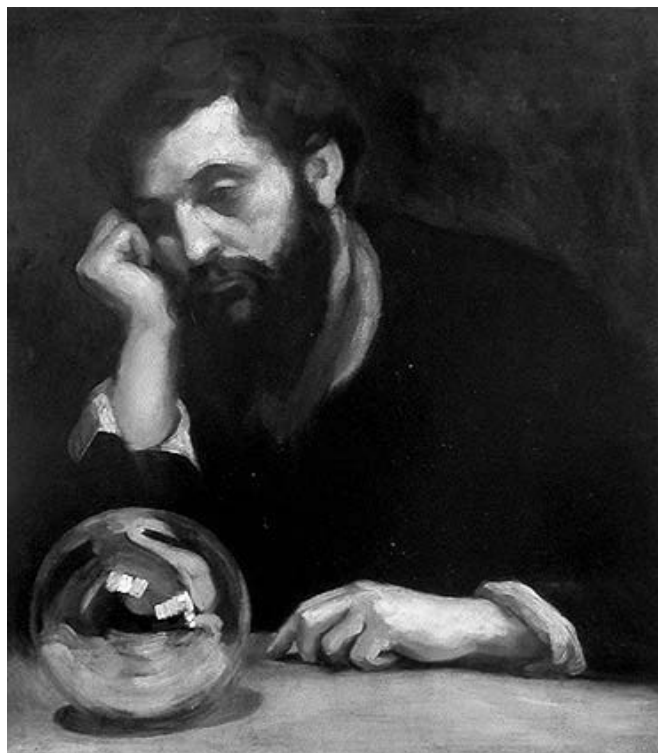
* * *

...И чайки плачут и зовут детей,
И дедушка Тарас уже печален,
И нет конца (поскольку безначален)
У списка ожидаемых смертей.
Кто не прошел еще и двух третей,
Тот начинает речь свою вопросом.
Но там стоит матрос, и с тем матросом
Беседовать – что облако белить.
Уж лучше дров на баню напилить
И наносить воды в ведре скрипучем...

Учи язык. И мы лениво учим,
И до сих пор владеем парой слов.
Как будет «чайка»? – нужно у послов
Спросить, когда они сюда вернуться...

Ах, верно, это страшно – не проснуться?
Ах, верно, это страшно – уходить
И знать, что никакого нет возврата?..
Поинтересовался бы у брата,
Чем огород вечерний городить.

Да, кто-то же еще зовет идти.
Да, позывной такой же, как и прежде.
А ты меняешь что-нибудь в одежде,
Но изменять не думаешь пути,
И веришь в чудо, и живешь в надежде –
В квартире, в этом доме, взаперти.



Gibran Khalil Gibran: "The Thinker".



Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я – везде, я – нигде», сборника стихов и рассказов «Лабиринт» (2014). Публикации: журнал «Иные берега Vieraat rannat» (Хельсинки), альманах «...На каменистых финских берегах» (Тампере), подписное издание «Личность и культура» (Санкт-Петербург), статьи об истории и значении православных икон, опубликованные в газетах «Katri», «Kirkko ja kaupunki» на финском языке.

Наталья Мери

Natalia Meri

Хорватия

Трогир — словно высеченный из белой кости город; крепость хранит в себе многочисленные сокровища.

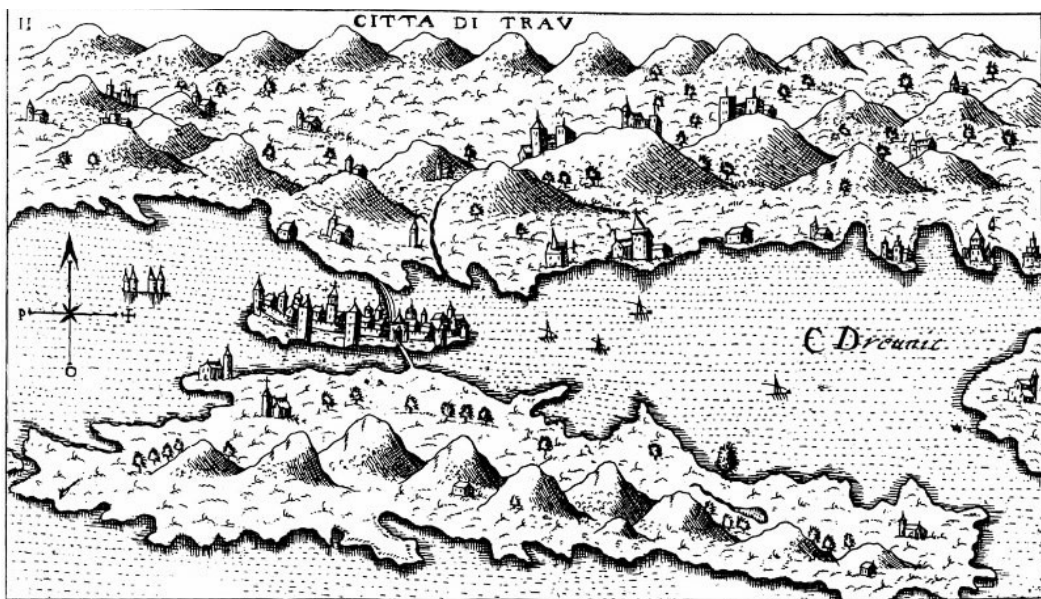
Дуги арок древней церкви, стены женского монастыря и уже ставшие совершенно гладкими камни городской площади раскалены беспощадным летним солнцем, с такой же силой накалявшим их и сто, и двести лет назад...

Над центральными воротами старого города высится строгое, высеченное из камня лицо католического святого, недоверчиво оглядывающего гомонящую толпу туристов, привлеченных сюда удивительно прозрачной морской водой, изобилием экзотических фруктов, радушием и непосредственностью местных жителей.

Прыгающие мальчики и девочки, увлеченно лижущие быстро тающее мороженое и их папы и мамы, разморенные на жаре, не понимают, что при входе в город следует устремить свой взгляд на древнюю, высеченную из камня скульптуру, изображающую библейскую сценку, и затихнуть.

Святой многое видел за время своего пребывания над воротами города: и бесконечные войны, чередующиеся с промежутками мира и благополучия, и праздничные шествия, и танцы, и всеобщее ликование. Во время нападения врагов святой пытался прикрыть город стеной золотого света. В дни ликования он посылал жителям свое благословение, а они в свою очередь славил Святого. Они всегда чувствовали необходимость друг в друге и взаимную любовь.

Но теперь он очень устал. Год за годом перед его глазами проплывают все те же панамки, фотокамеры и дети с мороженым. Святой жаждет одиночества, он готов переселиться даже в пустыню, чтобы никогда больше не видеть праздной толпы. Но не может покинуть своего места — древний скульптор навеки приковал его к городской стене...



Alte Ansicht von Trogir auf einer Landkarte aus dem 16. Jh.



Родился в 1969 году. Член Союза российских писателей. Автор двух сборников и ряда публикаций в российской и заграничной периодике. В настоящее время проживает в Таллинне (Эстония).

Владислав Пеньков

Vladislav Penkov

Такое кино

Р.Г., дружески

В самом деле — холодное лето.
И пора бы привыкнуть давно,
что по нашим с тобою билетам
не бывает другого кино.

Да и то хорошо, не морозы.
Пусть другого кого-нибудь в шок
вгонят наши пайковые слезы.
Не морозы — и то хорошо.

Досидим как-нибудь до финала
черно-белых ленфильмовских дней.
То, что их до обидного мало —
это осенью будет видней.

124

Н.П.

Гудки теплоходные тише
античного хора цикад.
Июнь выжимает на крыши
хрустальной жары виноград.

И можно обжечься о стекла
оконные. Тронь и проверь.
В кошмарные байки Софокла
открыта подъездная дверь.

Июнь объясняется всхлипом
зеленой истерики лип,
и влажной ладонью Эдипа
он к тахикардии прилип.

Куда ни посмотришь, там пьеса,
там зрители полный вагон,
там руки простерла Одесса
незрячая — небу вдогон.

Время пейзажей, пейзажи времен

Н.П.

-1-

В небе розовом — звезды и птицы.
И прекрасней, чем «Фауст» у Гете,
подростковые ветки-ключицы
у гуляющих группками тетей.

Счастье? — вечер, дыхание, трепет,
легкий ветер над гладью залива.
Пусть другому горбатого лепит
моего эпикриза крапива.

Между мной и тобою — дефисом
летний воздух меж мной и тобою.
А судьба — это только актриса,
посмеемся над нашей судьбою.

Пусть она забавляется болью,
если в этом находит призвание.
Мы с тобою повязаны солью
полусумрака-полусиянья.

Пусть судьба надрывается гулко,
принимая трагичные позы.
Продолжается наша прогулка
мимо этой торговки с Привоза.

-2-

Дождика растет щетина.
Вечер, ветер, лето, грусть.
Не застыну, так простыну.
Ну и ладно, ну и пусть.

Закачусь копейкой тусклой
сгину между половиц.
А хотелось видеть устья
глаз, речной камыш ресниц.

А еще хотелось даже
кануть — от земной тоски —
в губы — алые пейзажи,
марсианские пески.



Константин Коровин: «Черемуха», 1912.

Черемуха

Стоит черемуха, что нищий —
ее богатство отгремело.

Теперь она — на пепелище
Иова праведного тело.

Пусть для других — прекрасно лето,
разгул плодов у вишен диких.

Она — из Ветхого Завета,
времен ужасных и великих.

Она кричит огромным криком
на небо в зареве багровом,
на Отвечающего бликом
ее обугленному слову.

Адрастея

Видят сны и медведи и раки,
те — в берлогах, а эти — в воде.
И чего вам не спится, Акакий?
Что особого в вашей беде?

Ну, подумаешь, сняли шинельку,
и горячка, и делу кранты.
Спи спокойно, соси карамельку
бесконечно-благой темноты.

Нет же, ходишь, пугаешь прохожих
диким видом и криком «Моя!»
Или на Адрастею похожий.
Или я не секу ни *уя.



Перс

Эту ночь мы с тобой переждали.
Продержались. «И это пройдет».
Две других стороны от медали
щурит старый всезнающий кот.

Он-то знает. А все же не скажет,
и намек не даст, не проси.
Просто в ноги подушкой ляжет,
запоет на кошачьем фарси.

Не захлопнулась черная яма,
но прикрыла на времячко рот.
Это было известно Хайяму.
Не про это ль потомок поет?

Aubrey Beardsley: "The Black Cat", 1984.

Сто первый

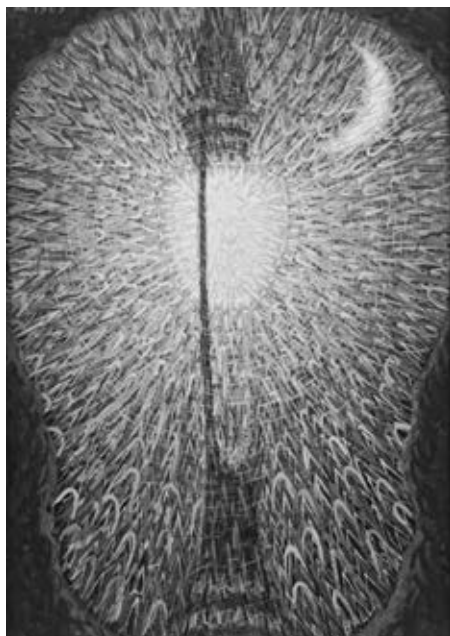
Снега бы! Снега бы, наледи, ветра!
И босяков у дверей магазина.
Чтоб на сто первых моих километрах
пахло паленым, как жженой резиной.

Выйдешь на улицу. Каркнет ворона.
Шов поползет, оторвутся заплаты.
Сердце не держит уже обороны
и не дымишь, как труба комбината.

Все как-то так. Через пень и колоду.
Через колоду крапленых картишек.
Ставишь на кон золотую свободу
и получаешь свободы излишек.

Можно сжимать кулаки под подушкой,
можно до спазмов кусать одеяльце.
И, разливая свободу по кружкам,
рот набивать климатическим смальцем —

тучами, снегом и наледью черной,
сыпать заварку. Ах, Господи Творче!
Если уж выдалась жизнь кипяченой,
пусть кипяченое будет погорче.



Giacomo Balla: "Street Light", (1910-11).

Фонарик

«и к благоухающим липам...»

Г. И.

Сейчас отгорит фейерверком заря
над черными гривами лип
и к липам приблизится свет фонаря—
прохладный и бледный, как всхлип.

Приходит на смену сплошному огню
сложение огненных риз
и этот фонарик — закат-парвеню,
похожий на легкий каприз.

А ты удивляешься — если вокруг
трагедии вроде бы нет,
зачем наступает особенно вдруг
прозрения крайнего свет.

И сразу становятся так далеки,
как только бывает потом,
шумящие липы, фонарь, мотыльки
и все мирозданье — гуртом.

Вторая, третья

Володе

Нет для этого слов подходящих —
ночь удушлива, словно фогсен,
для тоскующих, смутно мычащих,
слабо верящих в свой Карфаген.

Для того эта ночь беззаконна,
чтоб не видеть, не слышать, не знать,
что идут пацаны Сципиона,
поминая такую-то мать.

Исполняется высшая мера.
Забывай или не забывай,
но перчаткою legionера
прозвенел самый первый трамвай.

Утро бледное город накрыло.
Победители, как саранча.
И выходит на каждое рыло
по железному блеску меча.

И не дышится. Шатко и валко
дождик вышел и ходит, как пес,
там, где утро похоже на свалку
громких чаек и тихих берез.



Михаил Кондратьев: «Петербург. После дождя», 2014.



Николай Васильев

Nikolay Vasiljev

Вчерашняя жизнь в провинции

Родился в Череповце Вологодской области. В 2010 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького, после чего несколько лет жил в Санкт-Петербурге и Москве. Претендент на Астафьевскую премию (2013), стипендиат «Форума молодых писателей в Липках» (2014). Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Ното Legens», «Кто здесь?», Зарубежные задворки» (Германия, Дюссельдорф), «Процесс» (Чехия, Прага), Интернет-изданиях «Точка зрения», «Полутона». Живет в Череповце, работает корреспондентом в местной газете.

Как он сюда попал, да просто шел против спирали, висевшей на ее маленькой груди под черным платьем – она так и сказала, своеобразно улыбнувшись, что у нее тут почти ничего нет, поэтому ему будет не сложно сосредоточиться на том, зачем он пришел, а качать туда-сюда кулончик ей сегодня в тягость – нервы, подумал он, хаос, и кофе у тебя сегодня плох, волновалась о чем-то, пока варила, и я с утра на измене... ну-ка, я спокоен, кому говорю – да никому, что за бред, я не нуждаюсь в слушателе, когда думаю – поэтому он всегда пытался, пусть и не получалось, думать молча, даже внутри себя молча, как это делают, может быть, звери, не знающие внутренних слов, кроме «оно» и «не оно», «здесь» и «не здесь», да и то не слова, а попавшие в прицел вещи, сами себе имена, и рыжий металл кулона меж ее грудей, в том месте, где геометрически должно быть сердце, с какого-то момента стал цветом... что такое «здесь» в русском языке, наречие места – цветом наречия места:

черно-рыжий кустарник вдоль обмелевшей реки, зримой вместе с остальным простором с высоты насыпи, но как он сюда попал – шел против спирали, против ее течения, закручивавшегося к абсолютному истоку или концу, к точке, и он, уже не в силах игнорировать воронку, не бывает настолько уж маленькой груди – пошел, одновременно проваливаясь в точку, в другую сторону, к ширине и объему, но там-то и были глубины –

он не знал, куда шел, но чувствовал, что идти надо обоюдоостро: на вдохе я толкаю сердце, на выдохе сердце толкает меня – то самое, что ровно в центре, и она говорила ему вспоминать сегодняшний день, утро, ночь, вчера – и сегодняшнее все, что окажется дальше, сегодняшнее будь что будет –

его могли убить, к гадалке не ходи – но не убили, и он на следующий день пошел, и следующий отличался от предыдущего только тем, что надбровные тучи города были рассечены в двух местах, как помеченные; в автобусе он ехал вместе со страхом, был похож на того, кто разместил в общем транспорте взгляд на своих грязных ботинках или мусолит языком больной зуб – вчерашних он не боялся, а вот это... вот это в нем проснулось, вместе с ним самим –

под черной бородой не было видно, но явно болело от всякого нажима, пока он смывал сухую кровь и жег перекисью губы; ребра под рубашкой он тоже, морщась, проверил, когда проснулся – в одежде, поэтому сначала стал вспоминать, в каком часу и с какими мыслями засыпал –

вспомнил, в первом, с мыслями о самочувствии, в котором очухается утром тело, и еще кое о чем, что было даже ближе и тревожней, пусть предскажем, оно и было: свет в каких-то странных и родных полях, тронутых и пахнущих ветром оттепели – свежо, приятно, неприятно другое, – что весь месяц, кроме последних ночей, он смотрел во сне на огонь среди зябкого раннего простора и называл: свет – и даже в последнюю ночь не чувствовал дыма, хотя и огонь, и ветер были обращены в лицо, и когда он зажег утром лампочку в ванной и невольно присмотрелся к раскаленной нити, то невольно, еще не до конца проснувшись, понял, как понимают в общих чертах механизм – что во сне было, как в лампочке: пекло, а от него – свет... но не искусственный, безопасный, холостой, как здесь, а дневной –

прижав к губе ватку, он смотрел себе в глаза – и вдруг, от всего нутра, выругался, чего не любил, считая брань разрядкой по воробьям у ног, оттоптаных крупными животными; е*аное зеркало, сон, стыд – не было солнца, никакой там... каймы на пасмурном горизонте, никакой примеси розового или золотого за серым, рассвет шел от огня, и он не мог представить, как такое можно увидеть, но помнил; дерьмо, вляпался, идиот – целый месяц тревожиться снами и не заметить очевидного – страх внезапно постучался в мозг, и от него, как от самого слабого из возможных гостей, было нельзя прятаться –

да еще это чувство измены с каким-то мистическим душком, откуда оно взялось – у него было три подруги и смутные, не доходящие до постели отношения с четвертой, которую он собрался сегодня посетить – какая там верность, он просто присутствовал в жизни подруг – плотью, разговором, некоторой морально-финансовой поддержкой – и удовлетворял, не претендуя, потребность в женщине; круг его женщин находился где-то внутри сдержанного провинциального блядства, не доходя до границ понятия и не соприкасаясь с ними, но зачем-то он вспоминал в автобусе дремучую патриархальную историю из жизни прадеда, иронически рассказанную отцом:

Всевышний дал прадеду знак, что жена врет ему в постели, и жене, понятно, пришлось туго, но прямых улик предок не нашел, а тетка жены сумела настроить против него мужчин из ее семьи – брата жены он вышвырнул в окно своего дома, когда тот грубо и неучтиво доказывал невиновность сестры – потихоньку назревала резня, и прадед, не обольщавшийся кровью и все-таки любивший жену, пришел к идее раскаяния: она изменяла мне, потому что душа моя изменяла разуму, и разве можно полагаться в ущелье жизни на пьяного и буйного проводника, и не было других способов открыть мое самодовольное сердце свету, кроме как подточить его тоской, тревогой и гневом (добрее он стал только к жене, в остальных случаях разве

что справедливой и холодной); родственное томление настигало и правнука, ехавшего в автобусе отпрашиваться с работы – и не раскаяние, но страх перед пропастью ошибки, недоказанной, но уже как бы совершенной и разверзшейся –

свои смешанные обязанности продавца, совладельца магазина и охранника он перенес на первых двух подруг, оперативно проникшихся его шрамами – да ладно, все, все (будет в порядке), если что, звоните Эльдару, девчонки, или Алексею, вот корпоративный телефон, его величество Анна III (и правда, третья) остается тут до восьми – чмокнул первую в щеку, попав около шеи, пока вторая поправляла, нагнувшись, вино, и поехал к гадалке:

в автобусе играл Лепс, не очень ему нравилась эта музыка, что-то в ней было настолько легкодоступно-русское, что он это даже чуть презирал – нет, другим народом он себя не считал, корни у него были сибирские, татарские, прадед был из Чечни; «...я счастливый лет на сто» – пел Лепс – яканье, тыканье, онканье, выканье; штраф за курение в неположенном месте завода в тридцать тысяч рублей; огни сварки, огнедышащий металл в ковше – Александр Семенович, да я слышу прекрасно, что вы заняты, мне подпись ваша нужна, и я ее получу, у проходной вас буду караулить, до встречи; если у Александра свет Семеновича не окажется ручки, а ты за минуту не найдешь свою, все пойдет прахом –

но это что по сравнению с тем, с какой откровенной мощью борьбы и распада, с какой простотой и неумолимостью вспыхивает между русскими людьми в тет-а-тете зависть, по щелчку облупленной красной кнопки – Светуля, ты бы чаю нам подогнала, мне две сахара, ему одну – пардон, пять; парень, которого он вчера выручил из-под побоев, говорил потом: да ты смелый, друг, я бы зассал, ночью, в индустриалке, да с тремя лбами – есть семья у тебя? – хотел пройти мимо, правда, но прошел мимо этой мысли, темно, индустриалка, домой пора, спать – один раз хорошо попали по челюсти, чуть не уснул – чего ждали, пока сам лягу, что ли, надо было дожимать; помнил, как бил – удобными длинными, натужными короткими, это как разгрузить за десять минут в тесном закутке фуру, которая хочет разгрузить тебя; работа, ломать ли, строить, когда строишь, тоже рушишь – сверлишь, обтесываешь, проби-ваешь – просто в полсилы; приняли, наверно, углядев под метавшимся в глазах, у висков фонарем – бороду – за горца, и отступились от крутого склона – вот так, да, я смелый, зато, приятель, у меня нет твоей семьи –

но потом что-то пошло не так – не так, как что, хотелось бы спросить, но ведь никто не договаривает – не договаривает чего, второй вопрос, но и здесь нет смысла пояснять, просто все перестало быть тем, чем оно было, хотя опасность по-прежнему хлестала ему в лицо, по телу, словно огонь, и он скорее отвечал, чем защищался – пытаясь опередить, иногда – пресечь, иногда – отыграть в несколько движений уже проигранную, казалось бы, комбинацию, перевернуть угрожающую чужую удачу, но суть в том, что он отвечал на огонь огнем, на одном языке, исключавшем согласие между говорящими – сколько бы ни было их, сколько бы ни было его – речь, не имеющая вопросов, а только противоречащие друг другу ответы –

один или много, один много, в сердце которого молчал, не двигаясь, тот парень и улыбался, не открывая глаз, над ним мелькали ботинки, сверкали кулаки, трещали хворостом жилы, дровами – кости, искрами летели зубы, крики, кровь, а он лежал, как младенец, как чистая совесть, в этой горячей утробе и не завидовал нисколько –

«я ведь знаю, мой бессемейный друг, что ты меня вытащишь, есть Бог на свете» — что мне до тебя и твоей семьи, но вытащу, ты уж не сомневайся, это входит в общую сумму моей ответственности... за существование Божье — их становилось все больше, они становились все быстрее и сильнее, и где-то на краю паники, прокручивая запретную картинку поражения, он упал на землю и нашел в себе ту же безответственную улыбку, но открыл глаза, но совсем не там, где рассчитывал очнуться и спросить у хозяйки, посреди сеанса, чего-нибудь, чтобы отпустило нервы — смешанное, противоречивое внутреннее время было обратимо, но еще более непрерывно, чем прямое —

отсюда хочется выпить водки, жажнуть с этого холмика по открывшемуся простору — одним залпом, в одиночестве и потому не чокаясь, — невесть откуда взявшийся, памятный и воображаемый алкоголь, взлетев к лицу, с оправданной расстоянием задержкой проваливается в задушевную даль, чтобы пробраться нутро еще глубже, чем утробный вой поездов, которым отмерено пространство для обмелевшей реки, черно-рыжих трав, деревьев и кустарника ее берегов, разновысотных жилых массивов, индустриального урочища спичечной фабрики, курящихся в небо труб котельной, Вавилона дач, гаражей и кладбищ, крайнее из которых не так давно перебралось через насыпь в незаселенный и перспективный район —

— дальше кладбища, дальше памяти, дальше известной и застроенной души, к троице деревянных домов на горизонте, и один из них вспыхивает после того, как снаряд приземляется во двор, объясняя древнюю и чудовищную колдобину у ворот —

что ты видишь там, во дворе, спрашивает единственная из его подруг, с которой он проводил до ее улицы полные густого разговора дни и не провел ни ночи, она хорошо понимала его и то, как донести до него свое «нет», оставшись на тонкой границе между явным отпором и некой невысказанной болью, только эта граница, не дававшая повода силе и заставлявшая о чем-то смутно задуматься, пока женщина без спешки и промедления уходит, и могла его остановить —

да, только эта женщина могла его понять, остановить, закрыть ему глаза на реальность комнаты, где он все-таки оказался — но это была гостиная, над дверью и под люстрой покачивались сверкающие побрякушки, из шкафа глядели мутным взглядом названия книг по колдовству и всяческой около-психологии, но ему сразу понравилось, что под светлым и мягким ковром чувствовался честный жесткий пол, а в зоопарке книжного шкафа не было места Библии или Корану, за которых в этом соседстве было бы неловко, как за взрослых и уважаемых, но не верховодящих парней в компании шустрых и очень уж развитых подростков — комната признавала рабочую сомнительность своей обстановки, и хозяйка закрыла ему на это глаза и открыла на что-то другое, сомнительное не менее, но иначе —

в том дворе стоит девушка, похожая на гадалку, с чем-то таким цыганско-еврейским в облике — волосы гораздо длиннее и мягче, чем у него, но равносильно черные, да еще выющиеся — хотя в углубленных трудом линиях ладоней мерещится прямота и откровенность голой рощи, как и в венах предплечья, набухших влагой с выжатого белья, с пальцев ее падают капли, а на дворе ночь и холодный ветер, и это странно, что она не вытерла рук или, наоборот, зачем-то окунула их, выйдя из дома, в бочку у дверей и держала, глядя в черную, как волосы, воду, а вода видела снизу ее шею и лицо, не то что острых, но чистых и не затупившихся очертаний, и так немного, ровно чтобы покрыть нищету, нажито на этих чертах нежного и округлого



добра, что красивому кисловатому яблоку родственна плоть лица, как следует созревшая, если верить черной воде и желтой лампе над крыльцом, только на левой щеке и правой скуле –

и он внезапно обнаруживает в воздухе кнут и свист двух ударов крест-накрест и вздрагивает ошеломленно, будто собственная ладонь залепила ему пощечину, обратная сторона которой оказалась еще жестче прямой – но было кое-что еще жестче, уже на каком-то самоубийственном пределе:

контраст между судорогой, пробежавшей по лицу девушки, и абсолютно неподвижным, устоявшим взглядом – подобно тому, как устояла после первого удара она сама, и в этом было даже больше, чем силы, какой-то роковой чистоты, и за первым ударом с темной, но ясно чующей свою гибельность неизбежностью последовал второй – а глаза казались страшно выпуклыми, налитыми слезами, как звериные – кровью, и он вспомнил, как в первый раз занимался электродной сваркой, по глупой юности игнорируя защитную маску, сквозь которую трудно было разглядеть место для шва,

и ночью после работы проснулся от того, что плотная, литая влага переполняла глаза, которые не могли раскрыться, только с этим можно было сравнить то, что он увидел на лице девушки сквозь исковерканную судорогой воду – и он чувствовал, с каким нехорошим напряжением стынет и леденеет вода –

и тут он вспомнил такое, что рассказы о прошлых жизнях обернулись сугубо психологической правдой, но ее было достаточно, чтобы обнажить конкретный безымянный механизм, действовавший посреди чертежа вымышленной и как угодно названной машины, вполне подменяя собой всю ее нерабочую реальность – ощущение семьи, которой у него никогда не было, в которой он отец и муж, но не «главный», а как-то сложнее – он ни за что бы не подумал, что тут могут быть не то что сложности, а какая-то одна, неделимая, недробимая далее сложность: он не смог бы взять

полноту власти, не поступившись при том... любовью к этой черноволосой девушке, она легла поперек гордости и самодостатка, словно овраг через поле, определяя коренными неудобствами ландшафт — и этот овраг вырыл в его душе место для игр детей, еще не рожденных, и одиноких походов туда жены за своей печалью, травой для супа и выросшим на несколько метров небом —

возвращаясь с работы в деревянный дом, он говорил, что не представляет, где в этих краях можно найти нормальные деньги — несколько самонадеянным тоном охотника, от которого с удивительным упорством прячется обреченная — одним только его взглядом в глаза чаще — и редкая добыча, — но видимо, несколько раз он это говорил, два или три раза, потому что однажды, вместо улыбки, чья немота и спокойствие послушно происходили из его гордых слов и дежурного беспокойства о доме — она спросила внезапно: а кто, если не ты? — ...да никто — нет, милый мой, так не пойдет, я беременна, кто-то должен представлять — ну хочешь, сама этим займись, сказал он, имея в виду, что и не представляя — сделает, —

но она сказала: хорошо, завтра я поеду к твоему начальнику, разбуди меня пораньше — и он подумал вскользь «...зачем она так», но это удивление не могло ничего остановить, и следующий час дом со страхом прислушивался к их скупой и неторопливой ругани, сюжет которой мог бы разрешиться за пять минут, но зачем-то нужны были эти паузы, повторы, инстинктивные возвращения — не к согласию, но к его бытовой границе, через минуту спокойствия начинавшей негромко трещать, как прибрежный ледок, слишком уж глубокая и оттого не успевающая остыть река струилась под ним темно и глухо, как кровь — все эти повторы, паузы молчания на чужую правоту и неизбежное, поверх все более высоких волнорезов этой правоты, движение ссоры, вся эта жуткая медлительность, пронизанная напряжением и каждую минуту вроде бы готовая остановить скандал — когда она повысила голос поверх его последней и оттого уже беззащитной далее правоты, он метнулся к ней и ударил два раза ладонью по лицу, она упала и замолчала, и подобно тому, как от ее тела во сне веяло теплом, или от ее облика, схваченного медным закатным или сизым, из недр пасмурного дня, лучом, заставшим ее за работой или книгой — веяло почему-то дальней дорогой и чужими странами мира — так и сейчас от нее, полулежащей в углу и засыпанной темнотой волос, веяло чем-то несломленным и непоправимым —

он вспоминал остальное последовавшее, пока бежал с работы, через тронутые и пахнущие ветром затяжной оттепели поля, на свет, горевший в сумерках — и в доме, не помещаясь в границах окон, стен, крыши — никто ведь тогда не погасил огня, не этим все кончилось, и свет продолжал гореть после прошлой жизни, уже заменяя дневной во снах, которые его беспокоили, потому что за ними проступала явь, тоже не помещавшаяся в их утренних пределах — он бежал через смеркавшиеся вечерние поля на свет дома и быстро — так повторяют на ходу бегло выученные билеты, опаздывая на экзамен — восстанавливал отрывочными связями, мгновенными деталями, смутными, длинными и кривыми, как дорога в сумерках, формулировками, на языках огня —

то, как он ушел в спальню и услышал минут через десять ее медленные шаги по коридору к двери — то, как она стояла потом на черном крыльце под желтой лампой, у бочки с водой, навлекая собой другой, сильнейший и беспощаднейший удар, которого хватит в единственном числе — обеими сторонами ладони, памяти, жизни, и не по лицу, по душе и дому —

и несколько минут, смотря на нее, он слушал, как переговариваются наверху несчастные полубезумные соседи, с которыми он был по бедности вынужден вложиться в жилье — непонятный, какой-то скомканный мужчина, ничего не боявшаяся толстая женщина, делившая кров и выпивку, и брат женщины, зачем-то спавший и пивший в одних стенах с ними — они, похоже, были взбудоражены ссорой внизу и новой бутылкой, стать осадком и тенью чужого раздора казалось для них, может быть, возвышенным, бессознательное и бескорыстное желание отдать свои жизни трагедии, померещившейся в соседской драме, проснулось в них, как последний и весомый, пусть убогодочный, повод быть —

он открыл окно и сказал: иди домой, Катя — чувствовал ли он себя виноватым, нет — как лезущий в пекло, когда там уже минимум шансов кого-то или что-то спасти, не чувствует себя храбрецом, только сумасшедшим или самоубийцей, наверно, а он просто тот, кто шагнул в огонь — да, он был виноват и нисколько этого не ощущал, и думал, что взбешен, выведен из равновесия, что позволил ее дурному настроению и неопровержимой, неотъемлемой лжи увлечь его в рукоприкладство, так он себя ощущал, и при том душа его уже горела виной, настолько сильной и внезапной, что он самому себе не подавал виду —

она легла в постель, он до нее не дотронулся и заснул со сложенными на груди руками, утром пошел на работу, осторожно перешагнув через спящую, но она все равно бы не проснулась, если бы он задел ее, раз даже рассвет, пение петухов в соседних дворах и пьяные возгласы наверху ее не разбудили — скоро вырубятся, подумал он, уснут часа через два в своих постелях или где они там спят — на лестнице пахло куревом, но он тоже курил и не почувял, а мог бы подумать: не спалили бы дом — от спящей веяло тем самым теплом, будто ничего не произошло, но кто знает скрип какой из половиц под ногами заставит ее, выпавшуюся вопреки петухам, улыбнувшуюся вопреки пустому месту в постели — вспомнить сегодняшнее вчера —

перебираясь через овраг, он увидел белевшую на дне пачку сигарет привычной марки, которые она редко и тайком покуривала, а он знал, жалел ее за это и ждал, когда пройдет второй месяц и начнется третий, чтобы напомнить ей и просто-напросто посмотреть в глаза, доставая из кармана сигареты — на дне пачки прошуршали окурки и пепел, он смял ее, выкинул, ополоснул ладонью лицо и огляделся в отчаянии на дне: край оврага, с которого он уже спустился, был выше другого, мокрая глина отражала пылавший впереди свет, и он почувствовал, увидел — понял, как она сидела тут, в недрах темной печали, и смотрела с бесстрашной отрадой на появившийся в ней самой — над ней самой — высокий и нежный отблеск, напоминавший мерцающий очаг в каком-то небесном жилище, и сколько-то времени ей все-таки понадобилось, чтобы отделить себя от увиденного и вздрогнуть: это очаг поражения, очаг беды, тоже, может быть, небесного происхождения — взбираясь наверх, уязвленный жалостью, нежностью, пониманием, он обнаружил, что исход склона и нижний край совсем размыты, разворочены ее локтями, коленями и страхом, и выбрался со второй попытки —

соседи из других домов, сверкая глазами, уступали ему дорогу, от нескольких, которые не успевали посторониться, он слышал, отталкивая, обрывки фраз — «поздно», «заживо», «вон она» — жена стояла, сложив руки на животе, недалеко от левого края огня и кричала, не теряя лица, но потеряв, похоже, голос —

подбежав ближе, он расслышал, что голос при ней, просто кричала она так же сдавленно и негромко, как тогда, когда зачала от него ребенка, и он думал, что оказался плоховат, но только сейчас догадался, что ей было очень хорошо, а крик перекрывало изнутри, и вот теперь он зачем-то мог быть в этом уверен –

встретив его взгляд, она сказала, но он не расслышал, а сразу прочел по губам, хотя никогда не умел: там уже ничего нет – отвернулся и посмотрел в глаза огню, свету, дому, дыму –

невозможное, обоюдоострое «нельзя»: остаться снаружи, войти внутрь – где уже ничего нет и не будет, если не войдешь и не дерзнешь – ни света, ни огня, ни жены, ни ребенка, ни дома, ни пьяных, ни трезвых соседей, ни земли, ни неба – вот он, очаг, вот оно, солнце, отказаться от его нутра, где выживают только ангелы да святые – значит предпочесть мглу, пронизанную горем, как страхом, и страхом, как горем – нельзя не войти в горящий дом, – дом, в который никто не вошел, когда тот горел, чтобы вытащить оттуда хоть кошку, хоть мышь, хоть одеяло, хоть бумажки и фотографии, подтверждающие жизнь, хоть малейший призрак жизни, да хоть мертвого – был построен зря, и жили в нем мертвецы, и дым его не верит в небо, куда поднимается – и кто убоился огня, тот не верил теплу, которым грелся, и не знал дерева, из которого строил, и не чуял рискованного родства между бревнами и дровами, на котором и держится дом –

и кто не войдет в горящий дом, тот не верит в Бога, это он подозревал с детства – не в набожности дело, это значило не верить вполне, до конца, до неизбежного горизонта – во что угодно, в свои силы, в любовь, в победу – и он вошел, но за спиной кричала жена, а внутри жены тревожилась душа его ребенка, и он оставил их, не оценив реальную невозможность возвращения, которая явственно перед ним полыхала – косяк, мужик, сказал бы ему кто угодно, хоть человек, хоть ангел, хоть совесть –

а Бог молчал, потому что где-то на втором этаже, после самоубийственной лестницы, поднимавшейся вверх, как его жена поднималась по склону – в чаду паники, падая и проваливаясь, сжигая силы, нервы, надежду, отчаянье – на втором этаже он взял на себя слишком много огня и дыма и не нашел никаких соседей – а нашел только сердцевину пекла, где языки пламени, осилив мир и принявшись за пустоту, трепетали и метались вечно –

и голос его жены сказал вместо гласа свыше:

«...сначала это мнится прошлой жизнью, потом родовой травмой – а это было вчера, милый, вчера –

и как можно использовать единственный шанс, если он мир – как его можно использовать, да только неправильно, посмотри вокруг – мост, где ты стоишь, меж высоких, пробираемых ветром склонов грохочет и воет поезд – слева еще один мост, автомобильный, желтый грузовик сверкнул на мгновенном солнце; вдоль реки – рыжая трава, обнажающиеся осины, тополя, березы, разновысотные жилые массивы, индустриальное урочище спичечной фабрики с курящимися в небо трубами, дальше – дачи, дачи, дачи, Вавилон гаражей, дач и кладбищ, троица деревянных домов на горизонте – какая бескрайняя милость, и все начинают тут обустриваться –

под шум вагонов с нефтью и газом, на брызги и выхлопы которых остается существовать – шампанское, господа, – понабрать кредитов, купить жилье, наделать детей, развестись с женой через год, два, пять, десять; раскрой ладони, все в твоих руках – линии рек и дорог в незаселенном участке области, поставь там окурком дачу, не на пьяный спор, а от пьяной боли, по трезвости которой живешь – осень смотрит в зеркало, не в первый, не в десятый раз – и тащит оттуда вагонами листву, и пока эта сука ходит где-то в трепещущей летней шубе, я скажу тебе:

подобно тому, как ты залез в пекло – все лезут в уже проданную кому-то машину, квартиру, семью, потому что нельзя не войти в горящий дом, разумеется – и стыдно пойти по дорогам в чужие страны спасаться и выполнять вину, когда тут такие полыхающие раздолы –

это было вчера, милый, и какая мне разница, кто твой покровитель, перекроивший для тебя весь мир за твою смелость и достоинство – весь причинно-следственный комитет с его длинными причинно-следственными связями, всю неподъемную историю, куда впаяна, как фундамент развалин, рассказанная тобой – какая мне разница, кто твой покровитель, когда он вообще у тебя есть –

слишком велика милость, и ты крепко в этом даре увяз, а я... куда я денусь, должен ведь быть свидетель у таких чудес, – и твоего сына – я знаю, сына, – тоже, видимо, переписали вместе со всем остальным, изъяли из моего нутра, но уж тут я отказываюсь свидетельствовать, слышишь, опустошенное никогда больше не сделать полным – иначе нет и не было в нем ни чести, ни смысла – и будь виноват только ты, я бы могла простить, но мы с тобой одна душа и плоть, которую я больше не люблю –

и я знаю, что будет дальше: когда ты очнешься, я успею выскочить и запереть дверь, чтобы ты меня не догнал – к вечеру одумаюсь, сделаю копию ключа и посреди ночи аккуратно вставлю в замок, а там уж соображай сам – той же ночью уеду, мне есть куда – на месяц, на год, на годы – и никогда не вернусь, и тебя здесь не будет...» –

примерно так все и получилось, но он до сих пор здесь, а жизнь длится, уходя из-под «никогда», будто чужая земля – и девушка, похожая на гадалку, медленно, медленно возвращается на свет горящего дома, а он его и не покидал.

Место под солнцем

Она спросила, когда я в последний раз ел мясо – и сказала, что не имеет в виду пельмени, тушенку, сосиски и прочего страшного зверя. «Шашлык сойдет?.. – спросил я. – Год назад я ел шашлык». Она улыбнулась и кивнула, шашлык ее устроил. Набирая сопроводительное письмо – пальцы ее двигались не быстро и не медленно, примерно с моей скоростью, и ногти были подстрижены, как у меня – набирая письмо, она улыбалась до последней точки, будто сроки моей мясной голодовки порадовали ее еще пуще шашлыка. Возможно, хоть по этому параметру я идеально соответствовал должности, на которую, как она выразилась, претендовал.

– Да я ведь ни на что не претендую... – мягко возразил я. – Меня либо устраивает, либо не устраивает.

– Да и мы, в общем-то, далеки от претензий... – согласилась она. – Либо устраиваем, либо увы.

«Зачет, – подумал я, – надо было отшутиться иначе». Надо было сказать, что я не претендую на kota в мешке, пока мне его не покажут – хотя бы так, сквозь мешок, рентгеном.

– Ну что... резюме ваше я отправила, тексты ваши пока не стала. Надо бы перечитать. Давайте, наверно, пообщаемся на более... личном уровне. Если не возражаете.

– Нет... – сказал я.

На углу стеклянного столика лежала початая нами плитка шоколада; дотянувшись, она взяла еще кусочек и непринужденно его сгрызла. На мой вкус, это была вырезка из старого и жесткого шоколадного коня, на котором ковбои мотались по прериям, экономно обедая бока; такой вот старый, исконный, жилистый «сникерс». На моем жующем лице проступили, должно быть, тщательное пренебрежение и смутное воспоминанье, потому она и спросила про мясо. Теперь она спросила:

– Вы вообще... нормально себя чувствуете, чтобы отвечать на вопросы?

«Не знаю», – подумал я – и сказал:

– Это уже вопрос...

Потом я немного подумал и добавил:

– А это уже ответ... Ну, стало быть, я нормально себя чувствую.

Она посмотрела на меня с какой-то профессиональной заботой, встала и чуть задвинула шторы; в комнате сразу стало уютней, но все равно не слишком. Я отчего-то понял, что забота для нее, в некоторых дозах – это просто один из способов контролировать ситуацию; а искренность – это просто совершенный, безукоризненный автоматизм действий, настолько точный и внезапный, что разум не успевает и не считает нужным спрашивать отчета. На секунду мне показалось, что я понял женщин во всей их красе, но это ощущение, к сожалению или к счастью, быстро прошло. Когда хорошо кого-то понимаешь – на секунду им становишься, и это, конечно, не слишком приятно.

– У вас уже сложилось представление о вакансии? – спросила она, глядя на меня с высоты своего внутреннего карьерного роста. Ее, будем считать, внешний рост был совершенно средним – невысокая, устойчивая подставка для честолюбия.

– Да... – сказал я, – у меня сложилось некое представление. Вакансия сия есть тайна, покрытая мраком, и зарплата будет подходящей. Мне, на самом деле, все нравится.

Она отвернулась от меня и прошлась по комнате.

– Я заметила... у вас есть склонность к сильным и каким-то безнадежным жестам. Этот ваш... софизм на тему самочувствия...

– Скупая логика, – усмехнулся я.

– Скупой абсурд, я бы сказала. И вы в нем этак, знаете, расписались, причем за меня. От такой горькой щедрости стыдно сомневаться в подписи.

Не исключено, что она окончила филфак – непонятно только, филологический или философский. Остановившись, она поправила на себе свитер, и я заметил, что джинсы у нее держатся на талии, а не на бедрах. Под свитером мельком вспыхнул живот; нормальный, теплый цвет тела, ставший на мгновение цветом дневного света.

– Есть подозрение... – сказала она, присев за столик, – что из вас мог бы выйти неплохой террорист.

– Может быть, – устало согласился я. – И зачем вам тогда мои тексты и мое резюме? Это не показатель профпригодности.

– А что, по-вашему, показатель?... – с грубоватой ноткой веселья в голосе спросила она.

– Ну, не знаю... попытка взять кого-нибудь в заложники. К примеру, вас.

– А, вы об этом, – сказала она – Нет, я про другого террориста. Тот не берет... тот отдает, скажем так.

В просвете между штор виднелось чистое небо и узкий отрезок набережной; солнце, сгоравшее над городом – а если верить науке, взрывавшееся над ним – бросило мне в глаза какой-то движущийся предмет, но тот был неопознаваем – слишком яркий и призрачный, словно бы сгустившийся из взрывной волны. Приглядевшись, я понял, что это маленький рыболовный катер, пробирающийся по реке.

– Вы здесь?... Вы со мной?

– Я думаю над вашими словами... – ответил я, – раз уж вы их сказали. Наверно, это какая-то шутка.

– Солнышко сегодня прям весеннее, да? – как бы разочарованно произнесла она. – Прям греет.

Я вдруг вспомнил, что в одном из моих текстов была метафора: солнце – это террорист, взрывающий космос, вскрывая в нем жизнь. Весьма юношеское произведение, автор которого начитался Лотреамона, Сартра, Батая и договорился до приличного безумия. Может, она вспомнила этот образ и решила меня поддеть, иначе я вообще не знаю, о чем она. А солнышко было и правда едкое, и у меня от него тоже чесалась ключица.

– Понимаете... я хочу оценить ваше творческое мышление, а вы не торопитесь его обнаруживать. Тексты, конечно, говорят о многом, но я хочу...

Она остановилась и посмотрела мне в глаза:

– Я хочу, чтобы вы родили кое-что новенькое, и прямо сейчас.

– Вы многого... требуете, – вздохнул я.

– Имею право, – спокойно ответила она. – Вы ведь понимаете, что соображалки продавца-консультанта здесь будет явно недостаточно.

Я уже начинал испытывать раздражение, и меня это раздражало; я знал, что

ни к чему достойному оно не приведет. Я искал работу полгода и дичал на ходу – и земля потихоньку отказывалась меня носить, предоставляя это переулочному ветру. И я, с тяжелым сердцем – чтобы не сносило с курса – собрался, застегнулся и пошел против переулков, против проспектов, против каналов, и нашел эту контору на окраине центра – и чувствовал, что гожусь, черт возьми, для этой работы, о которой нельзя сказать ничего определенного. А потом, через минуту, чувствовал, что нет, не гожусь – потому что уже на нее опаздывал; каждый мой взгляд, встречавшийся с ее взглядом, встречал ожидание, и оно длилось, секунду, две, три, и я все равно не догонял. Будто бы разговор – это игра в мяч, а я так одичал, что разучился ловить мяч, и надо успеть признать это и научиться заново.

– Говоря начистоту... – сказала она, – у вас есть последний шанс. Последний, он же единственный.

Я посмотрел в ее широкоскулое, крупных черт лицо и смирился; мне иногда нравятся такие лица. И волосы такие мне иногда тоже нравятся – короткие и светлые, будто трава, щедро выжженная солнцем до самых корней. С большой голодухи я почему-то доверяю нестандартным блондинкам с характером – доверяю им, как светлой изнанке всех мутных брюнеток, на которых меня всю жизнь тянуло.

– Не хотите сигарету? – предложила она, достав из-под столика пачку. – Я бы, признаться, закурила.

– Спасибо... – довольно-таки хмуро ответил я.

Закурив, она посмотрела на меня и отложила пачку, решив, что я отказался. Ну значит, я отказался; и правильно, не надо бы курить натошак. Сколько я там уже не ел нормального мяса – ну да, около года на сплошной сое под соевым соусом – от недоеда и недосыпа все вокруг стало обременительной иллюзией – но если и был в этой комнате кто-то, кроме меня, то разве что эта девушка. И что поделать, если последний шанс оказался вот таким, оказавшись в ее руках – с этими широкими запястьями и четкими костяшками пальцев.

– Могу я собраться с мыслями?..

– Да все вы можете, – сказала она, выдохнув дым. – Только хотите ли?



Андрей Белевич: «Чайка на фоне крепости Акерхус», 2009.

«Хочу...» – подумал я, отчитываясь то ли перед ней, то ли перед собой. В просвете между штор мелькнула птица, а потом послышались голодные чайчьи вопли, отчего-то согревшие душу; эти вопли очень хорошо изображала одна моя знакомая, не так давно угодившая в наркодиспансер. Я вспомнил, как она пыталась учить меня жить – и, почти не раздумывая, изрек:

<i>не кажется ль тебе, что ты исчез</i>	<i>но выше чайки вдруг взметнулась боль</i>
<i>из поля зрения вселенной? –</i>	<i>и взгляд печальный вслед за ней полз</i>
<i>кричала чайка надо мной, как глас небес,</i>	<i>и солнце жгло глаза мои, как соль</i>
<i>как глас небес обыкновенный –</i>	<i>вся соль небес</i>
<i>пустил ты корни, сидя на мели,</i>	
<i>но потеряла силу соль земли</i>	

– Неслабо... – проговорила она, усмехнувшись и озадаченно приподняв брови. – Неслабо, неслабо. Я ведь так до конца и не поняла.

– Да это же игра в бисер, – сказал я. – Узорчик на троечку, что тут понимать.

– Таким бисером можно расстреливать свиней... – сказала она, и усмешка приобрела уважительный оттенок. – Ей-богу, не понимаю, в чем тут прелесть, но она убийственная.

Экспромт меня не восхитил, но цену ему я знал; было приятно, что и она оценила. На сигарете у нее копился пепел, придававший моим стишкам веса, а в ее отсутствующем взгляде завелся какой-то суровый огонек. Смысл сказанного доходил до нее с каждой затяжкой, отражаясь в глазах, и по мере приближения становилось ясно, что шуточки с этим смыслом плохи. Ну а что можно ответить на такое приветствие? Здравствуйте, очень приятно, и со мной тоже не очень хороши.

– Ну да ладно... – неожиданно сказала она, и усмешка обратилась в улыбку. – Хорошего понемножку. А потенциал у вас, конечно, очевиден.

Она встала, подошла к компьютеру, достала из-за системника пустую кофейную банку и тщательно потушила сигарету. Потом она два раза щелкнула мышкой; после второго щелчка на вспыхнувшем экране появилось какое-то сообщение. Похоже, мое портфолио террориста она отправила только сейчас. Что за бред, подумала, что за цирк.

– Вот что... В двух словах, чем мы занимаемся.

У нее было два посадочных места – вертящееся кресло за компьютером и стулик у столика – и она не могла решить, где ей все-таки больше нравится. Все-таки, это была по-своему милая барышня. На красный диванчик моржовых тонов, приютивший меня, она не садилась. Не исключено, что на самом деле ей нравилось возвышаться надо мной своим внутренним карьерным ростом, но тут я уже могу себе льстить. Она села в кресло и развернулась ко мне.

– Литературный проект, как вы понимаете, это наружная сторона дела. За этим... фасадом процветает... религиозная организация, которую широкая общественность... сочла бы экстремистской, если бы что-то о ней знала. Ваша доморощенная теория заговора широкую общественность, слава Богу, не интересуется. Ей до вас,

слава Богу, нет никакого дела. Поэтому я могу несколько упорядочить те шальные мысли, кото-рые сейчас придут вам в голову.

И вот тут, конечно, шутки кончились. Шутки шутками, а на рассвете того дня я видел взрыв на горизонте. Никто его не планировал, он случился сам и был безобидным, как хлопушка – но от этой хлопушки всколыхнулось пространство. И я подумал, что это очень нехороший знак, и мне захотелось проснуться, но я отбросил эту идею; посреди жизни вообще довольно часто хочется проснуться, и толку от этого обычно никакого.

– Все, что мы делаем... – сказала она, – это скромная лепта в копилку критической массы. Мы пытаемся ускорить конец света. Мы ищем катализатор.

И мне расхотелось просыпаться, но я и правда почему-то проснулся. Что это было, думал я, что-то ведь явно было, но что это и к чему оно.

– Может быть, вы не в курсе, но в некоторых древних книгах есть упоминания о кучке безумцев, накликавших судьбу мира.

– Чего?.. – спросил я.

– Страшный суд, – ответила она. – Страшный суд, от которого бытие увиливает, как от призыва. Понимаете, о чем я.

– Нет... – сказал я, и она удовлетворенно кивнула. Я ведь сказал то же самое «нет» примерно тем же, наверно, голосом, когда она предлагала пообщаться на личном уровне. Видимо, в глубине души я всегда был согласен отрицать здравый смысл и порядок вещей.

– Понимаете, – продолжала она, – время тянется, тянется и ни до чего не дотягивается. Уже на уровне языка вскрываются противоречия, разрешимые только апокалипсисом. К тому же...

– Я понял идею, – сказал я. – Идея мне близка. Но вы не думаете, хоть иногда, что конец света – это, мягко говоря, не ваше дело?

– Думаем... Приходят такие мысли. Но потом приходят другие мысли. Если опыт конца света покажет, что мы ему поспособствовали, значит, нам так на роду было написано. История все подтвердит, если мы дадим ей закончиться.

Какая-то протестантская логика, подумал я. Мне даже вспомнилось слово «кальвинизм».

– В некотором роде, – согласилась она.

Около полудня я вникал в эту концепцию, пытаюсь понять, чего хотят эти люди. Похоже, их волновали чисто духовные проблемы. Девушка говорила, что главное доказательство существования Бога – это торжествующие аутсайдеры, победу которых нельзя объяснить ничем, кроме грубейшего божественного вмешательства. В какой-то момент я подумал: а ведь интересные ребята – и что-то заставило меня скрыть лицо ладонью и тихо, самозабвенно рассмеяться. Девушка говорила, что безвременье тоже не вечно и что ему начертана смерть от несчастного случая – а я слушал ее и рассыпался в смехе – вместе с безвременьем, безденежьем, безнадежьем и безумием. – Вы, я смотрю, нехорошо себя почувствовали... – немного помолчав, сказала она. – Не пойти ли вам проветриться?

Отчего же, я очень хорошо себя почувствовал, мне стремительно полегчало.

– Не обижайтесь. Это смех радости.

– Я понимаю... – сказала она. – Не сегодня, так завтра я вам позвоню и скажу наше решение.

– Я уже знаю, – сказал я. – Ваше решение – апокалипсис. Можно еще один вопрос?

– Конечно, – произнесла она таким тоном, будто я попросил у нее взаймы.

– Вам не все равно, – спросил я, – какой литературой прикрываться?

– Нет, нам не все равно... Фасад – это все-таки лицо здания, и пусть внутри потемки, свое лицо у них есть. Мы хотим прикрываться хорошей мрачной литературой, полнотой тревожных смыслов и отчаянных метафор.

– Я бы не отказался вас прикрывать... – сказал я. – Честно.

– Рада слышать.

Выходя из кабинета, я вдруг подумал, что если бы Бог был женщиной, Страшный суд был бы совершенно бесстрашным. Я не знал, что мне еще думать; мне вынесли мозг. Я уже давно чувствовал себя призраком, которому отказывают в трудоустройстве – потому что вот этот конкретный призрак не лоялен к интересам компании – даже если он, честно говоря, уже вполне себе лоялен. Сто раз уже так было, а теперь был сто первый и последний, дальше поиски становились откровенно бесконечными. Дойдя до конца коридора, я понял, что пошел не в ту сторону. Передо мной красовалась дверь с табличкой «запасный выход». Еще там была надпись: проход держать свободным. На двери отпечатался в вечном бегстве схематичный белый человек, изображенный с невероятной минималистской экспрессией – казалось, он не просто бежит отсюда, а прямо-таки сматывается, дает деру. Больше всего меня восхищала узкая пустота между жирной белой точкой его головы и невыразимо прямой линией плеч. Его правая рука была каналом, по которому он вливался в белый свет за дверями. Я ненадолго почувствовал себя белым человеком, постоял у двери и пошел искать парадный выход.

Маленький рыболовный катер все еще ползал по реке, а над ним, в чаянии добычи, кружили чайки; одна из них отчаялась от стаи, ветер поднял ее над остальными. Я доел свой хот-дог, купленный в забегаловке – бедная, заблудшая собачатина – и выкинул салфетку, заляпанную горчицей, в реку; перед тем, как намочнуть и потонуть, салфетка проплыла немного против течения. Река была такой мутной, в ней было столько противотоков, будто вода постоянно мутила саму себя, оставаясь всего лишь попыткой воды. Наверно, внутри этой метафизической попытки пыталась жить рыба, которой пытались поживиться птицы. Я повернулся влево и присмотрелся к массивному желтому зданию с множеством окон, пытаюсь найти иголку в стогу; как ни странно, у меня это получилось. В окне на последнем этаже, втором справа, были широко раздвинуты шторы; девушка прохаживалась мимо окна туда-сюда, будто зверь в своей собственной клетке, и думала, может быть, обо мне, не видя меня в упор. А я ее видел, и это казалось мне нелепым; в прозе жизни такие поэтические находки чреваты последним абсурдом. Ну давай, подумал я, остановись и посмотри; должен ведь абсурд дойти до какой-то логики.

Если я вообще есть, думал я, должны у меня быть деньги на поесть. Должны у меня быть средства на существование, если я вообще существую. Не правда ли, это элементарно. Чайку, отбившуюся от стаи, стало сносить к берегу; я сочувственно усмехнулся, я знал, что ловля ветра – нелегкое занятие. От попутки к попутке, без билета, без прописки, без семьи – в одиночестве и в скромной надежде на милость дороги – в надежде на то, что жизнь не побрезгует стать твоей жизнью. Ведь это, признаться, предел мечтаний – понравиться реальности и услышать от нее благословение – будь тем, кто ты есть, и делай, что делаешь – и пусть она скажет это моими устами и на моем языке. Я вдруг почувствовал, что ветер дует мне в спину и немного вбок – как раз в направлении катера; стая орала, как на базаре в день грабежа, а эта неприкаянная, оказывается, молча перла против ветра. В ней было свое птичье достоинство, и ветер подкидывал его на холодной ладони, как монетку – пока та не выпала орлом. От такого ветер стих и на мгновенье задумался – а когда он подул снова, направление его уже изменилось. Чайка подлетела к берегу и стала кружить надо мной.

Не знаю, чем я привлек ее внимание, но ради меня она рисковала остаться без обеда. В качестве альтернативы, я представил обедом себя, надо мной все-таки кружила хищная птица. Рядом никого не было, и я, задрав голову, громко, с выражением прочитал чайке свои стихи про соль небес. Полагаю, ими-то я ее и накликать, за ними-то она и прилетела. Она ответила мне порывистой птичьей тарабарщиной; по крайней мере, мое произведение ее взволновало. Она металась надо мной, билась в вышине, как голодное сердце простора – как грязнокрылая душа ветра – и я принял небо и ветер такими, какими они мне представились. Больше ничего не оставалось: только ветер, шуршащий по монолитной, обшарпанной им синеве, косые лучи солнца и трепет крыльев, под изменчивой сенью которых я находился. «Возьми меня на работу, подруга, – подумал я. – По-моему, уже пора бы». Работа бредовая, кто бы спорил, но не более бредовая, чем вся моя жизнь – и если уж вселенная не побрезговала заглянуть в черную дыру моего одиночества, то и я не побрезгую принять вызов. И если они хотят хорошей мрачной литературы, будет им хорошая мрачная литература; и если они хотят, чтобы у тайны, покрытой мраком, было лицо, будет им это лицо. Да оно и так маячит на каждом углу – лицо этой барышни, устроившей мне собеседование, мое лицо, лицо моей знакомой, которая спускается в подземный переход и выходит из него на другом конце города, лицо человека, говорящего «здорово, мудила» неизвестно кому – в ушах у него наушники, а на голове у него радужная шапочка с немыслимым помпончиком – лица людей на рекламных плакатах, иногда такие живые, будто эти люди и правда еще где-то живут – пустынное лицо небес, отчаянное, слепящее лицо солнца, задумчивое, забытое лицо толпы, мелькнувшее на краю толпы, лицо мужчины, который ждет автобуса – а когда он жарит яичницу на своей скоропалительной сковородке в своей одинокой однокомнатной, у него абсолютно то же самое лицо, и ты уже видишь его там, где его, быть может, не видит никто. И если они хотят, чтобы у тайны, покрытой мраком, было лицо, то я знаю его черты; я доходил до каждой и стою на одной из них. Да пусть будет, что будет, и пусть оно поможет мне сделать, что я должен сделать; в конце концов, конец света не наступит раньше, чем ему полагается. «Как ты считаешь?» – спросила у чайки. Та что-то яростно пискнула и полетела обратно к подругам; ветер снова пошел ей навстречу. Умело выкручиваясь, изворачиваясь, она вернулась к своей обступившей катер тусовке, от лица которой она ко мне обра-

щалась – да, я забыл про лицо экипажа, которого не видно – но тут у меня зазвонил телефон, и мне пришлось взять трубу.

– ...А вы, я смотрю, недалеко от меня ушли, – сказал сквозь волны и ветер женский голос.

– Простите?... – сказал я.

– Да ничего, все нормально, я оценила ваш юмор. Знаете, я хотела... хотела подать вам какой-то сигнал и сама хотела... хотела в вас убедиться. И тут смотрю в окошко, а там человек на набережной, а над ним птица. И я вдруг услышала, что вы с ней разговариваете.

– Я?... – спросил я. – А может, все-таки не я?

– Ну нет, я не могла ошибиться. Слов я, конечно, не разобрала, но эмоцию почувствовала. Короче, вот что, я решила вас взять. Не знаю, что скажут наверху, но я скажу, что это под мою ответственность.

Я поморщился, огляделся по сторонам – и вдруг, сообразив, обратился к знакомому окну. Да, она там была, она даже помахала мне ручкой.

– Приятно слышать... – сказал я. – Приятно слышать, что вы решили... довериться своей интуиции. Когда мне подойти на обучение?

– Да прямо сейчас. Надо бы объяснить вам кое-какие азы.

– Ну хорошо... – сказал я. – Иду.

Она положила трубку – а я уже знал, где ее искать. Чего я не знал, так это что меня там ждет, кроме неизвестности, и что мне там светит, кроме солнца, место под которым было теперь очерчено моей собственной тенью и взмахами пыльных чаячьих крыльев. Я вспомнил лицо этой девушки, когда она смотрела на меня сверху вниз – и вдруг понял, что она не назвала своего имени, она ухитрилась оставить этот вопрос открытым. Мало того, она даже не спросила, как зовут меня. В тот безымянный день – не помню, среда это была или четверг – на душе у меня творилось нечто неопишное, и я подозревал, что оно запросто может оказаться счастьем.

Предварительный марафон

Да потому что мы все сдохнем, говорит кровь, надевает капюшон, запирает дверь и стремительно нисходит по лестнице, звеня ключами где-то в глубине своих балахонистых одежд жреца или мелкого бандита; видок у нее такой же дремучий, как у тех уродов, от которых я поймал легкое, по счастью, сотрясение в городе Петербурге, среди центра города, среди солнца дня – нет, сама-то она здоровая, вменяемая, а вот вид у нее мутный и подозрительный, будто вопрос о чистоте крови или о том, кто куда и за что будет послан, когда эту чистоту растворит в абсолюте земля.

Кровь не заботит ее состав, потому что с ним уже ничего не поделаешь, ржавое железо этих вагонов, наполненных горючим и взрывоопасным, чудные свойства которого неотменимы, как пункт назначения – это даже не то чтобы жизнь, а скорее

судьба или, того скорей, на превосходящей возможности дорог скорости – смерть, или, в тишине и вечном шоке после взрыва – бытие; неопишное ржавое железо, прикосновение к коему подобно прикосновению к ветру – в том смысле, что нечего сказать, а кожа уже говорит: это оно – будто оно и есть кожа.

И ты спроси у этой крови, что такое ДНК, и она ответит, что аббревиатура; данная навсегда катастрофа давно переименована в древний неизвестный катализатор – переосмыслена, с каким-то ритуальным пренебрежением, как первая любовь. «Лена, Леночка, Ленусь, я к тебе еще вернусь...» – бормочет кровь, не пропуская на ходу ступеней – и скулы сводит от этой пошлости, горечи и несбыточной правды, но лестница неприкосновенна, и не столько для чистоты, сколько самодисциплины – но вот открывается тяжелая дверь, которую, впрочем, уже не так трудно сорвать с магнита, если забываешь «таблетку» от домофона, сорвавшуюся с ключей, распад нашел-таки в тебе лазейку – и кровь, стыдясь своего бардачного хаоса или еще чего-то, что вовремя за ним спряталось, сплевывает на темный ночной асфальт; через некоторое время на этом месте произрастет кривое и живучее дерево трещины.

Не прерывая движения, не прекращая лестницы, кровь ускоряет шаг и начинает бег, оттого лестница снова всплывает, несколько раз поднимая и опуская землю – то на высоту склона, увенчанного гаражами, то в глубину поблескивающей донными лужами парковки, рядом с ней белеет укромное здание некоей конторы, в темноте явно частной, не государственной; тут повсюду холмы, и кровь злится на себя за выбранный для бега маршрут – не с таких перепадов надо было начинать, это опрометчивые понты, да хотя все равно, они не уменьшают и не увеличивают вероятности, с которой мы все-все провалим. «...Перед лицом такой задачи, перед лицом таких высот...» – проступает в крови что-то, наверно, из позднего Пастернака, и кровь кое-как продолжает, на манер стихков-пирожков: не помешает нам удача – и не спасет.

Ее не заботит вопрос чистоты, не беспокоит, безупречна ли репутация предков – ее волнуют две вещи: высотные дома, ночующие в холодной и темной, но не остывшей до конца синеве на востоке – и прохладное, чуть теплое будущее всего, чем она, кровь, объемлема и хранима, ибо вариантов покинуть родину ей до самого горизонта не видно. Кровь считает себя пожизненным патриотом, которому все равно не застать достойных дней, но просто... да Господи, сколько сказано на эту тему, сколько раз бесславно рвалась задолго до середины эта живая цепочка, рассчитанная на длину и прочность, а не быстроту развертывания и сворачивания, на капитальное расстояние между звеньями и выносливость дублера, подменяющего идеальную и не виданную в своей роли бегущую сталь – душа ли он, дух, да и плоть кое-где дублирует дублера, где нужна крайняя убедительность человеческой физики; столько раз все шло крахом, что само по себе достоинство – на грани праха, не говоря – твое, и не говоря уже – твоих дней. И вот от этого теперь становишься несчастен – раньше и дальше, чем от собственного не-счастья. Над городом пролетает ранний самолет, еще недалекий в небе от своих реальных размеров и аэродрома, и кровь думает: проклятие и чудеса, где же они успевают наверстать себе взлетную полосу, это ведь всю землю надо отмотать, чтобы взлететь – неужели им хватает мизерного промежутка между сопливыми пятнадцатью и мифическими тридцатью, после которого всем мерещится монотонный и постоянный, как небо, гул по утраченной юности?

Кто-то однажды спросил кровь, зачем она столько лет каждый день бежит — для тонуса, наверно, для полноты жизни — я Бог знает, что это такое, сказала кровь, я для полноты выживания. Или вы думаете, я просто так — тогда бы я прогулочным ходом передвигался, просто скорость прогулочного хода совсем уж несоизмерима... с пространством и временем; я так думаю, если бежать достаточно долго — я не спринтер, я в это не верю — если достаточно долго бежать, там тебя еще смогут, может быть, дождаться — мало ли, поезд задержат на часок, а если самолет, то могут и на день отменить, есть шансы, короче, но рассчитывать все равно, понятно, не стоит. А куда вы, собственно, не рассчитываете успеть, спросили кровь на улице и подсунули дурацкий серебристый микрофон. «...На вокзал, куда — сказала кровь. — Надо посылку сыну передать, или дочери, никто еще не родился, призрачная надежда есть, так что разговор окончен». Это был угрюмый бубнеж в землю, и микрофон был дурацкий, никто ничего не услышал.

Кроме меня разве — и я не знаю, стоит ли рассчитывать на детей в вопросе полноты выживания, но если кровь успеет — не к поезду, так хотя бы к утру — незримая, но желтая, как солнце, стена, об которую бьется сердце, пополнится еще одним текстом; чем больше, тем выше их приходится писать, и какая-то часть меня уже висит, наверно, на достаточной для смерти высоте и не вполне понимает, как это вообще делается, и не видит даже смысла, не то что веревки, лестницы, падения — назад; облака вверх уже много лет подбираются к солнцу, будто рыбы пытаются выйти на сушу.

Проскочив перед самым поездом переезд, кровь остановилась и поняла, что нужно остановиться: отдышаться, перевести дух, осадить страх, великие глаза которого ни разу не оглянулись назад, где, возможно, ничего и не было — кроме той половины безумия по другую сторону вагонов с горючим и взрывоопасным, что объясняла и наполовину извиняла внезапную и огромную, стало быть, трусость — и кровь села на колени — скорее, впрочем, на четвереньки — опустила лицо к земле и смотрела исподлобья сквозь грохочущие колеса; рассвет позволял опознать мелькавшие, стоя на месте, ноги, длинные, потому что с такой высокой, породистой голенью коротких ног не случается, и сначала к их ступням упали два черных предмета — туфли на витиеватых каблуках — а потом поезд отгрохотал, и казалось, пока поднимался взгляд, что коленей так и не нашлось, хотя юбка была выше, но деталей кровь разглядеть не могла, и даже рассвет еще не все видел. «...Окажись правдой, ну, — подумала кровь. — Этот вариант меня устраивает больше».

И она оказалась правдой — еще тогда, когда кровь первый раз на нее наткнулась, перебежав проспект и решив срезать через малознакомые дворы. Женщина стояла под фонарем, в преддверии подъезда, и вертела в пальцах сигарету. Кому-то — может быть, ей, или обитателю, или исследователю подъезда, или владельцу одной из машин, обитавших по ночам во дворе, или ночному бегуну в капюшоне — кому-то казалось, что она кого-то ждет, и это было похоже на действительность; из дверей мог в любую секунду выйти ее, так скажем, товарищ — чтобы отвезти женщину посреди ночи в пригород к взбалмошной подруге или в клуб, или к каким-то своим знакомым либо, кто знает, клиентам — разве что одета она была скромно, минимально женственно: юбка и куртка из джинсы, но туфли да, вполне, к таким ногам только такие, чуть громоздкие. У нее были те своеобразные осанка и телосложение, когда стройность и пропорциональность форм очевидны лишь в определенных, несколько выше и больше среднего, пределах и без них словно бы и невозможны; пропуская

такую женщину, например, в квартиру, в машину, испытываешь смущение от близости, нормальная мимолетность которого почему-то задержана и усилена ее ростом и фигурой.

Вроде бы кобыла кобылой, но по мере приближения к углу дома, где светился во главе угла подъезд — не только шаги и метроном ключей, даже дыхание прослушивалось в чуткой пустоте двора — стало мерещиться, что она еще и непростая кобыла, поскольку не оборачивалась посреди ночи до последнего. Смотришь на эту спину, плечи и ноги, в эти черные — то ли от густоты, то ли на фоне фонаря — волосы и думаешь с некоторой усмешкой: чем дольше она не реагирует, тем больше знает — и уже не только то, что ты приближаешься, а что именно ты.

Когда она обернулась — иронически хмурясь и морщась от света, в кольце которого стояла, никого пока не дождавшись, будто единственный смысл был в том, чтобы торчать тут и быть зримой — когда она обернулась, ему внезапно прояснилось, что она не знает, кого и чего ждет. Что-то немыслимо очевидное, как резко и полностью вскрытое безумие или злость на ровном месте изначальной и ничем не обоснованной причины — а может, такое же чуждое повода злорадство или сладострастие — что-то проступило в ее глазах, когда она сказала: ах как чудно... угостите огнем. «Девушка, я бегу...» — бросила на ходу кровь, подразумевая, что не курит. Ну так поделись, услышала кровь вдогонку, огоньком-то со смертью. «Чего?..» — подумала кровь. «Э-эй!» — неожиданно, необъяснимо громко выкрикнула женщина, словно могла догнать и отнять больший, чем у тебя нет, огонь, ну и ключи от сердца в придачу. Кровь в изумлении оглянулась, но движение срезало об угол дома возможность взгляда; потом вдогонку зазвучали туфли. Кровь бежала, а каблуки цокали, умудряясь понемногу выигрывать в громкости.

Это прошло, и через некоторое время кровь обнаружила страх. Во-первых, она мерзко себя почувствовала, как больной толстяк на физкультуре; как толстый больной новобранец, угодивший на службу и в войну — непостижимое высшее командование, маскируясь истеричной лютостью низшего и скоропостижной гибелью транспорта, устроило ночной марш-бросок через неуставных размеров пустыню —

где было, по счастью, не жарко, где было темно, и каждую песчинку этого вязкого бесконечного песка — каждый шаг, выдох и вдох — настигали их собственные тени, из которых и состояла темнота; вместо привычного ритма дыхания, шагов и шороха одежды кровь слышала какой-то поезд хаоса, где каждое следующее колесо догоняло предыдущее, круша и расширяя уже сложившийся «ты-тых, ты-тых», и все стремились к тому, чтобы звучать всеми колесами сразу, и этих неразличимых, стремящихся к цельному грохоту циклов, наверно, столько же, сколько колес —

потому что за красноречивыми каблуками и их отсутствием кровь не поняла ног, не различила дыхания — пока за ней не устремилась ее собственная тень, дочь или, может быть, племянница темноты за спиной —

да, и кто-то стянул с беглеца капюшон, пытаясь схватить, и от этого полуприкосновения онемели полной, принципиальной неподвижностью затылок и шея, и надо было бежать, пока это пройдет или нет, потому что какое уж там оборачиваться, не говоря останавливаться — и кровь бежала, пока не начало светать, и дальше,

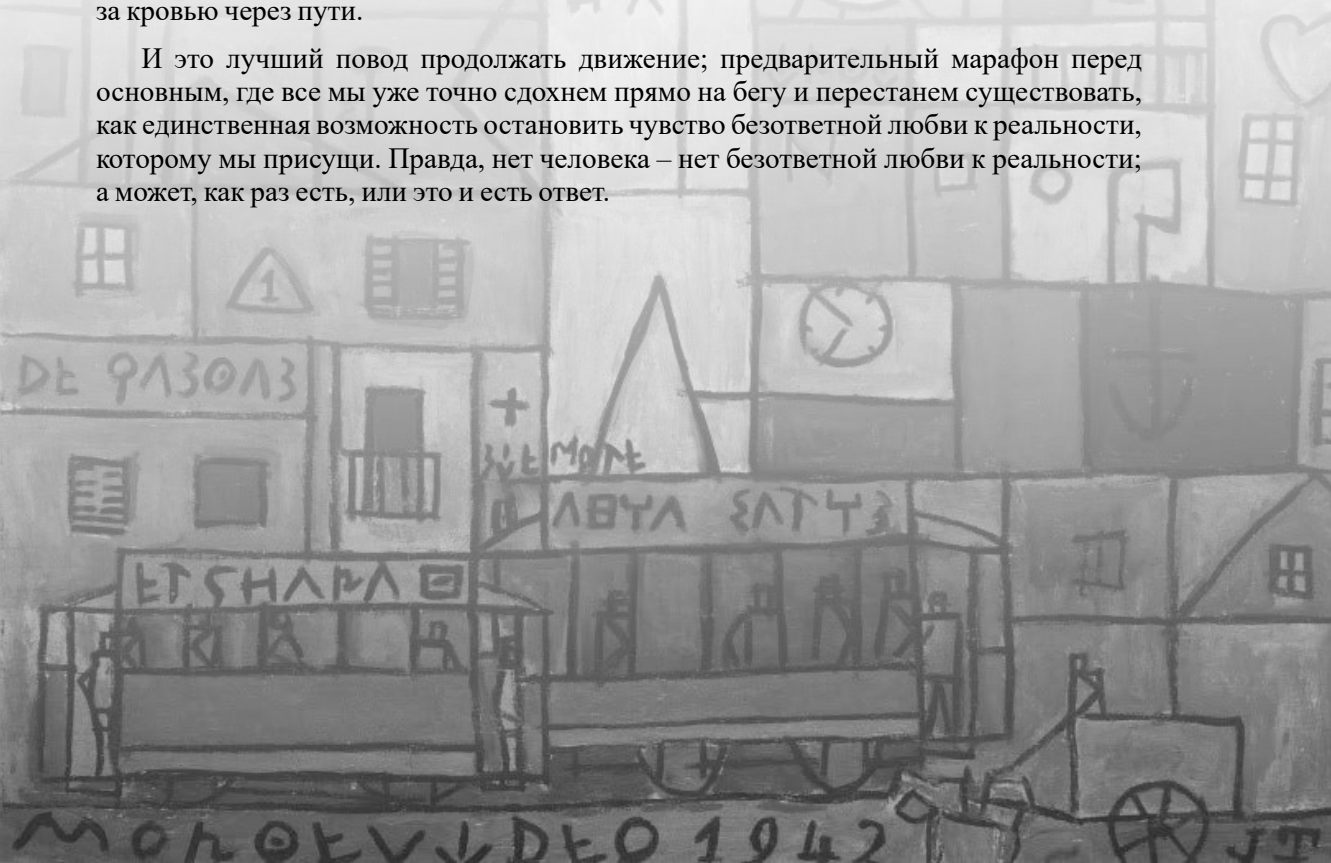
через микрорайоны, микроинфаркты «не могу», через центр «надо», через окраину, стало быть, «хочу».

Кровь бежала в предместьях железной дороги, где провела когда-то детство, изнанка беглеца понемногу размораживалась на солнышке, и это настораживало, ибо операция, судя по дыханию, вторящему за спиной, еще не закончилась – но крыша достроенной наконец новостройки со странным, чисто геометрическим торжеством вписывалась в небо, вознося туда спящих жильцов, чуждых, в общем-то, этой самостоятельной, метафизической геометрии, автоматически выбрасывавшей случайно узревшую душу куда-то в рай – и на переезде товарный поезд полного хаоса, издавший перед беглецом ликующего сумасшествия гудок, отрезал от беглеца тень.

Слава Господу, думает кровь, с ума я не сошел и трусом не оказался – вот же, она стоит и может меня догнать – да она всю ночь за мной пробежала, а я страшился смерти, это нормально. «У тебя по-лу-чит-ся! – кричит женщина за чертой дороги, совсем, похоже, не запыхавшись, и машет рукой. – Ты смо-жешь! Напиши мне, когда сможешь, без адреса, я пойму!». Она кричит ему, как бывшая, у которой остались чувства – из глубины, из горизонтальной, восставшей бездны, как самая первая, воскресшая на дорожку. «Этого мало! – кричит женщина. – Ничто не все! Никогда не останавливайся!» Торжествующая крыша продолжает катапультировать – с другого угла, но в то же самое небо – и ту же самую душу, та слышит в полете голоса диспетчерской связи с вокзала и почему-то приписывает их звук далеким деревьям на ветру, безмолвно, но несомненно, переливаясь листьями на свету, шумящим. И женщина орет: не расслабляйся, ты все равно обречен! «Неправда!.. – отвечает, решив подыграть, кровь. – Но я те-бя по-ни-маю!.. Прости, милая, такова жизнь!» Женщина не отвечает – наверно, улыбается – потом надевает туфли и медленно переходит вслед за кровью через пути.

И это лучший повод продолжать движение; предварительный марафон перед основным, где все мы уже точно сдохнем прямо на бегу и перестанем существовать, как единственная возможность остановить чувство безответной любви к реальности, которому мы присущи. Правда, нет человека – нет безответной любви к реальности; а может, как раз есть, или это и есть ответ.

Joaquín Torres-García: "Constructive City with Universal Map", 1942.





Поэт и художник. Родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет Ульяновского педагогического университета. С 2006 года живет в Финляндии. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор книги стихов «Русская тоска» (2003) и монографии «"Будут все как дети Божии...": Традиции житийной литературы в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"» (2011).

Алексей Ланцов
Alexey Lancov

Заросли чертополоха

I

Дахаб, Ларнака, Варадеро –
три сказочные страны из сказки
«Трип посенка».

В отеле на стене портрет матери Ротко.

По вечерам, размешивая размышления,
рассеянно смотришь мундиаль.
Или за окно.

Закат, как и положено, красный,
как корочки загранпаспорта.

Взмыленная речь, обмелевшая память –
что еще я вывез контрабандой?

Человек полон сил и эмоций,
У него много функций и опций,
Он лелеет свой маленький бложек
И постит туда мордочки кошек.

Он...

II

Головную боль заглушить труднее,
чем радиостанцию, презентующую
новые фасоны беды от знаменитого авантюрье.
Интеллектуалы проводят жизнь в беседах,
а я – в слушании бесед, облучаясь радиацией
производимых ими смыслов, деревеня.

Движенье времени вдоль темени в кромешной темени.
Прощай, огонь.
Моя голова переходит в слова,
В сосновую заболонь.

Конфликтующие комплектующие.

Открывать тугие двери,
применяя йоко-гери¹.

... Впрочем, у нас тут недурной брекфаст.
Выспавшиеся постояльцы бодро суетятся
вокруг хлопьев и бутербродов.

Парень, смеясь, кричит девушке: «Не буди во мне лоха!»
Варится кофе. Пенье цикад.
О, азиатский родной гандикап,
Заросли чертополоха.

2015

¹ Разновидность удара ногой в каратэ.

Юнона и Авось в XXI веке

*Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.*

Ты меня на корабль посадишь,
Хмуро скажешь: «Напрасно ты едешь».
Ты меня никогда не забанишь,
Ты меня никогда не отфрендишь.

Сдавшись в плен твоему обаянию,
День и ночь я тобой одной грежу.
Я тебя никогда не забаню,
Я тебя никогда не отфренжу.

Есть в словарном запасе поэта
Пара слов, он их шлет, как депешу:
В бан отправить – плохая примета,
Я тебя никогда не отфренжу.

Даже если столкнемся мы лбами,
И ты крикнешь: «За все мне ответишь!» –
Я тебя все равно не забаню,
Ты меня все равно не отфрендишь.

Ну а кто тот писака противный,
Что испортил прекрасные строки?
Он не слишком, стервец, щепетильный.
Его имя откроют ли боги?

И качнется в безоблачной рани
Голос звонкий (как будто из меди):
«Мы Ланцова, Ланцова забаним,
Мы Ланцова, Ланцова отфрендим!»

2015

*Мыслю, следовательно
существую.*

Декарт

Внес я в Декарта поправки,
Максиму вывел такую:
Я получаю лайки,
Значит, еще существую!

2015



Descartes

Так или иначе понятый,
Чую с реальностью связь.
Кто получает комменты,
Жизнь у того удалась!

2016

«...И ВЕК МИНУВШИЙ...»

«...Ja vuosisata mennytkin...»



Дмитрий Шляпентох

Dmitriy Shlyapentokh

Родился в Киеве. Сын основателя советской социологии В. Шляпентоха. Учился сначала в Новосибирском государственном университете, а после переезда в Москву на истфаке МГУ. С 1973 по 1979 год работал в московском экскурсионном бюро. В 1979 году эмигрировал с семьей в США. Учился в Мичиганском и Чикагском государственном университете (Michigan State University, University of Chicago). Доцент (Associate Professor of History) индианского университета в Сайт-Бенде (Indiana University, South Bend).

Автор книг: "The Counter-revolution in Revolution" («Контрреволюция в революции»), (1999); «Russia between East and West: Scholarly Debates of Eurasianism» («Россия между Западом и Востоком: академические дебаты евразийства»), (2006); "The Proto-Totalitarian State Punishment and Control in Absolutist Regimes" («Прото-тоталитарное

государство: наказание и контроль в абсолютистских режимах»), (2007); "Societal Breakdown and the Rise of the Early Modern State in Europe: Memory of the Future" («Социальный разлом и подъем раннесовременного государства в Европе: воспоминания о будущем»), (2008); "The French Revolution in Russian Intellectual Life 1865-1995" («Французская революция в русской культуре 1865-1995»), (2009); «Russian Elite Image of Iran from the Late Soviet Era to the Present» («Образ Ирана в сознании русской элиты: от позднего советского периода до сегодняшнего дня»), (2009); "An Introduction to 'The Heart of Asia' by Nicolai Rerikh" («Введение в «Сердце Азии» Николая Рериха»), (2011); "Afanasiy Nikitins Journey beyond the three Seas: An Orthodox Russian in Medieval India" («Хождение за три моря Афанасия Никитина: православный русский человек в средневековой Индии»), (2011); "The Role of Small States in the Post-Cold War Era: The Case of Belarus" (Роль малых государств в период постхолодной войны: Беларусь), (2012); "Global Russia: Eurasianism, Putin and the New Right" («Глобальная Россия: Евразийство, Путин и новое право»), (2013).

Предисловие

Предлагаемый читателю текст был написан более сорока лет тому назад и поэтому, во всяком случае, с точки зрения автора является в какой-то мере историческим документом. Сам автор может смотреть на него с некоторым отстранением, анализировать его как чужой текст. Текст, созданный не им – 65-летним, а тем 20-25-летним, который кажется в проекции времени почти совсем другим человеком, с этим, 65-летним, никак не связанным. Повесть была написана тогда, когда автор не только находился в начале своего жизненного пути, но и никак не помышлял ни об эмиграции, ни о судьбе написанного. Как многие гомункулусы московской городской культуры, автор, тогда студент истфака МГУ, мечтал быть писателем: вообще творчество, особенно свободное или даже получетверть свободное мыслилось как великое благо, метафизический смысл бессмысленного, в онтологическом плане, конечно, бытия.

Почему нужно было заняться древними греками и этим Фемистоклом, какое отношение имел этот самый Фемистокл к Профсоюзной улице, куда автор, следуя модели многих других представителей мужского пола, водил провинциалок, приехавших в «Третий Рим», купить колбасу и колготки? Интерес к теме, к античности в целом, был обусловлен многим. Первое – полным отчуждением от социума. Полного отчуждения от людей, как это, например, произошло в США, где гуттаперчевые улыбки вызывают только раздражение их полным несоответствием с реальностью, не было. Нет такого, наверное, и в Европе, где свои есть свои, а чужие есть чужие, что для евразийского/советского сознания более приемлемо, чем американская модель, где все свои и все чужие. Такого не было в Москве 1970-х годов, но было полное отчуждение от социума. Тогда в Москве я полагал, что это все следствие моего еврейства, невозможности устроиться в аспирантуру и прочих, как заметил бы Владимир Ильич, «Пуришкевичевских прелестей». Но, судя по воспоминаниям и информации, полученной впоследствии, это чувство было и у людей вполне славянского происхождения.

Была также и жесткая цензура, вплетенная в этот официальный социум. Отечественная, русская история была также вплетена в этот социум, официальный или полуофициальный. А посему интерес был часто к заграничному прошлому, особенно европейскому. Мечты увидеть в Европе, как говорил Достоевский, «священные камни», будь то готические соборы или развалины форума, были сродни мечтам пилигримов увидеть Иерусалим. Они были, естественно, сходными с той мечтой, которая была у предшественников, живших в XVIII-XIX веке, от Карамзина до Герцена. Это, конечно, была лишь одна из причин, почему автор заинтересовался античностью. Но это была вовсе не единственная причина. Дело в том, что мир вокруг него был «античным», или точнее, «римским». Советский Союз брежневской эры был во многом схож с Римской империей, и ретроспективно можно утверждать, что, скорее всего, это была не эпоха заката, а расцвета этой империи. Советский Союз был гораздо более «римским», чем нынешняя Россия, несмотря на своих «римско-византийских» орлов. СССР был действительно мировой державой с, тогда казалось, непобедимой армией; «варвары» и «парфяне» – США – или признавали Рим как высшего сюзерена или видели, во всяком случае, в нем достойного соперника. Это был мир абсолютной власти «принцепса»-императора-генсека, при этом национальность «принцепса» не имела большого значения. Сотни народов

жили в гумилевском «симбиозе», говорили всё более и более по-русски, «жили, дружили», пили, спали с женщинами разных племен, женились, производили «русскоязычных» детей, которые были во многом «римскими» детьми — они говорили на «латинском»/русском, во многом отождествляли себя с «*Rex Romanum*», с империей. Это сходство позднего СССР с Римской империей, отмеченное такими разными людьми, как Окуджава и Бродский, также объясняет интерес автора к Древней Греции. Этот интерес к античности стимулировался также наличием литературы о предмете на русском.

Античность была нейтральным предметом, в сознании руководства никак не ведущим к идеологическому искушению. Кроме того, в официальной идеологической конструкции античности отводилась роль «прогрессивной» культуры. Это позволяло переводить и издавать античную классику: от Тацита, этого Солженицына Древнего Рима, до почти порнографического, во всяком случае, по советским критериям, Светония. Книги эти были, конечно, выпускаемы в очень ограниченном количестве экземпляров, были большим дефицитом, но они существовали. Советской литературы о Риме, античности в целом было очень мало. Большая часть книг на русском была выпущена до революции, и они были явными раритетами. Но у автора был «блат». В Москве существовала и, по-моему, существует и по сей день Историческая библиотека с весьма богатыми фондами. Брать на дом книги оттуда не полагалось, исключения делались только для кандидатов и докторов. Автор не являлся ни тем, ни другим. Но мать его была кандидатом, на ее имя автор и брал книги. Библиотекарша, пожилая и доброжелательная женщина, прекрасно понимала, для кого берутся книги, но не препятствовала. Она явно испытывала ко мне симпатию и рассказывала, что к ней когда-то приходил сам Каганович и требовал, чтоб ему выдавали книги на дом. Каганович, хотя и был верным еврейским сатрапом Иосифа Виссарионовича, но кандидатом не был, а посему книг не получил. Каганович, рассказывала она, был очень зол и, злобно постукивая палочкой, удалился. Автор оказался более удачливым, чем Лазарь Моисеевич и, нагруженный томами, отправлялся на Красную площадь для ожидания очередной экскурсии — автор трудился экскурсоводом и даже написал об этом и опубликовал свои воспоминания уже в эмиграции в журналах «22», «Время и Мы» и «Стрелец». Ожидание экскурсии обычно проходило в маленькой обкуренной комнатухе в том здании, где когда-то томился Радищев: там была мемориальная доска, которую впоследствии убрали. Действительно автор «Путешествия» был явной предтечей «красно-коричневых» и «экстремистом». Другим местом ожидания был Александровский сад, где весной и летом можно было весьма удачно расположиться на лавочке. Тут автор и занимался чтением, одновременно поглядывая на проходящий женский пол.

Интерес к античности и сходным темам был обусловлен и другим фактором: отсутствием цензуры, и в этом плане античность, вместе со Средневековьем и Возрождением, выделялась на общем идеологическом фоне. Не только текущие события нельзя было печатно комментировать без строжайшей цензуры, но даже русскую историю. Тут были четкие границы и установки. Это не значит, что ничего не появлялось, так сказать, полукрамольного. Примером тут может быть книга Яковлева о Первой мировой, но это было скорее исключение из правила. Древний мир, Средние века и Возрождение были во многом вне цензурных интересов, а посему возможно было появление таких людей, как Лосев, Гуревич и Баткин, которые были весьма

известны среди московской интеллигенции, и их книжки немедленно раскупались; вообще знание, особенно эзотерическое, изощренно-тайное и особенно запретное, было необычайно престижно и даже, можно сказать, эротично. Дамы, не только москвички, но и даже провинциалки размякали от слов «Шопенгауэр» и «эйдос» и быстро соглашались, что, как говорил классик, «одно практическое действие гораздо лучше, чем сотни программ» (за точность цитаты не ручаюсь). Знание античной истории позволяло не только блеснуть эрудицией, но и избегать цензуры.

Цезура, естественно, не была главным препятствием для публикации. Издания за собственный счет, вполне понятно, не существовало, и для того, чтобы печататься, ты должен был, в большинстве случаев, быть где-то пристроен: быть членом Союза писателей, работать в университете, институте и т.п. Но автор, нигде не приписанный, по молодости и наивности полагал, что он может избежать общей судьбы и правил. К тому времени, когда автор написал свой труд, он понял, что никаких шансов на публикацию у него нет.

К этому времени (1979) семейство автора собиралось эмигрировать — теоретически на «историческую родину», но на самом деле в США. Уезжая весной 1979 года, автор полагал, что никогда больше не увидит Евразийское пространство, великий «Третий Рим», но по дороге в Нью-Йорк оказался в Риме Первом. Здесь, бегая из музея в музей, из собора в собор, он вышел на Форум. Перед ним была карта — Римская история от начала до расцвета империи — сначала маленькое пятнышко, а затем мировая держава, владыка полумира. Сам Форум, раскопанный, если не ошибаюсь, Муссолини, естественно, для патриотического воспитания трудящихся — был тогда в удручающем состоянии: все заросло травой, кустами, среди которых прятались огромные мраморные пятки от несуществующих ныне статуй или виднелись триумфальные арки. Все было загажено самым тривиальным образом: ликующие Ники, возвещавшие тысячелетия римские победы, пахли не кровью, а мочой; кругом валялись банки из-под кока-колы, целлофановые пакетики, бумажки, обрывки газет и тривиальные фекалии; общественные туалеты там практически отсутствовали, и граждане справляли нужду, где придется; я сам пользовался для сих нужд развалинами бань Домициана.

Кровь, сублимированная, очищенная от всего низменного, должна была присутствовать в этих свидетельствах былой славы, возвещающих, что нет ничего более сладостного, как заметили бы древние римляне, чем смерть за отечество. А тут была моча и фекалии. Это противопоставление крови — нечто героически-жертвенное, почти хайдеггеровское, как заметил бы, наверное, Александр Дугин, — пошлой моче было, в общем, иллюзорным, как я понял через много лет в США.

Один из моих студентов, лицо весьма экзотическое, признался мне по секрету, что служил наемником много лет в Африке, «неся бремя белого человека». Он поведал мне, видимо, со знанием дела, что когда человеку перерезают горло, то он интенсивно испражняется и мочится под себя; так что кровь (Евразия и Хайдеггер) смешиваются здесь с мочой (низким «Атлантическим»), и в этом, может быть, и суть всего подлунного. Но тогда, как еще достаточно молодой человек, я этого не понимал, и посему вид говна и запах мочи победоносных Ник был для меня удручающе философским и заставлял вспомнить, что, как известно, "Sic transit gloria mundi"²;

и в то же время в этом запахе, в этой панораме убожества и запустения – на Форуме, в силу его неказистости, запущенности и непривлекательности, туристов почти не было – было какое-то тайное, сладостное, запретное подсознательное торжество. Дело в том, что автор относился к категории людей, которых в России называли «России верные жида»: уезжать он никуда не хотел и был бы счастлив, ежели бы «Третий Рим» принял его за своего. Сходная мечта, как я затем узнал, была и у многих немецких евреев, которые не понимали, почему фюрер их не любит и отправляет в Дахау. Страстная неразделенная любовь, естественно, часто переходит в ненависть. Так что мысль о гибели «Третьего Рима» в году 5000-ом в какой-то степени грела, и легко представлялись развалины кремлевской стены, заросшие чертополохом и загаженные туземцами и туристами. Все это, однако, планировалось в далеком будущем: возможно, как результат вторжения китайцев – новых гуннов; тут было явное влияние не столько Амальрика, сколько расхожих рассуждений в Брежневскую эпоху.

В то время как автор предавался этим размышлениям, его опус плыл через океан. Дело в том, что вывозить любую рукопись официально было практически невозможно или, во всяком случае, весьма хлопотно. Решение посему было принято следующее: опус был перепечатан на папиросной бумаге – опыт «Искры» – без интервала и с двух сторон, и в этом качестве он был отправлен приятелю в США. Опус дошел, но вскорости по прибытию автор понял, что никаких шансов издать его там нет. Конечно, можно было напечатать его за свой счет: в США существует масса издательств, именуемых "Vanity Press" (буквальный перевод: «суетное издательство»). Там за несколько тысяч долларов можно напечатать что угодно. Книги эти, однако, никто не покупает, не читает; их, по большей части, нет ни в одной из библиотек. Кроме этого, по прибытии в США у автора, естественно, возникла масса других проблем. Надо было ввинчиваться в безжалостно-улыбчивый социал-дарвинистский мир «равных возможностей». О Фемистокле пришлось надолго забыть.

В начале 2000-х начались американские войны на Ближнем Востоке, и сходная историческая тематика стала весьма популярной. Появилась масса фильмов и книг, где героически-свободолюбивые греко-македонцы, прародители демократии и рынка, крошили неразумных тоталитарных варваров. И тут я вспомнил, что у меня есть нечто сходное, однако на русском, ныне мало популярном. Перевод на английский стоил бы огромных денег. Но тут подвернулся случай. Некая дама, обительница лесистой и гористой Монтаны – что-то вроде Американской Сибири – согласилась перевести бесплатно; я, естественно, уверил наивную даму, что книжка пойдет на ура, будет куплена лучшими издательствами, и мы разбогатеем и прославимся. Дама попала на крючок, да и сам я начинал верить в то, что говорю. Это проблема со многими увлекающимися и, в общем, не очень профессиональными пропагандистами. Доктор Геббельс, например, был не таков. Он, конечно, говорил подопытной пастве, что Wunderwaffe³ Германию спасет. Но сам-то он твердо знал, во всяком случае, в 1945-ом, что Германии капут.

Дама перевела, и я послал множество – наверное, несколько сотен писем – в различные агентства и издательства. Некоторые запросили текст, но потом все его дружно отвергли. Исключение составляло лишь одно стостепенное итальянское

издательство. Я был готов согласиться, но итальянцы требовали около двух тысяч долларов «субсидий». Отдать им деньги означало просто выбросить их на помойку. Но тутя вышел на сайт одного американского издательства. Издательство было поганенькое, практически "Vanity Press", но денег не брало.

Вскорости книга вышла. Как я ожидал, ее практически никто не покупал, и не было ни одной рецензии. Я стал проявлять чудеса предприимчивости и рассылать сообщения о книжке во все стороны. Неожиданно книжка заинтересовала издателя/редактора иранского эмигрантского журнала в Калифорнии – там обитает множество персов и армян. Он и переправил книжку в Иран, где она была переведена. Прошелся ли по ней красный карандаш цензора – не знаю, ибо на фарси не читаю.

Зачем нужно это вступление? Первое, чтобы российский читатель, а ему-то, в конечном итоге, и предназначался сей труд, понимал, что это написано где-то в самом начале 1970-х, автору двадцать — двадцать четыре года, а не шестьдесят пять, как сейчас. Во-вторых, автор прекрасно понимает, что его произведение – не шедевр литературы, однако может быть любопытным своеобразным историческим документом из того, уже «потонувшего» мира. К нему нужно подходить так, как нужно обращаться с работами Льва Гумилева. Критики его утверждают, что Гумилев никакой не историк, источники в оригинале не читал, литературу о предмете знал поверхностно, и т.д., и т.п., а посему можно его как историка игнорировать – он не историк, а достойный сын двух великих поэтов. Этот подход к Гумилеву неправилен. Его текст вовсе не о гуннах, хазарах и монголах, а о его времени, о мироощущении русского интеллигента конца империи – о том, что конец так близок он, конечно, как и все остальные, не догадывался. Так же нужно подходить и к моему «Фемистоклу»: вовсе это не рассказ о древних греках, а источник по восприятию мира совсем еще молодого московского еврея эпохи расцвета «развитого социализма».

Оборачиваясь и разглядывая его/себя, автор может отметить одну черту, специфически в восприятии мира, связанную с переездом из одной цивилизации в другую. Те, кто пересекал границу, часто были влюблены в Запад, а после проживания в таковом часто, хотя, конечно, далеко не всегда, меняли свое восприятие радикально. У автора этого не было. Внутреннее отторжение этого мира было у автора и тогда, когда он этого мира не знал, и тот, кто прочтет «Фемистокла», разглядит это легко. Так что за известную последовательность автор ставит себе «зачет». Хотя, как заметил бы Экклезиаст, а он читается гораздо лучше в конце, а не в начале жизненной дороги: «... и это тоже суета».

Д. Шляпентох

Фемистокл, сын Неокла

Персы без приглашения вошли во дворец — большой трехэтажный дом, сложенный из вековых каменных плит. Слуги, почтительно кланяясь, ввели гостей в центральный зал, где царь Аминта, забыв о приличии и достоинстве, первый подошел к курчавобородому главе посольства. Тот милостиво разрешил поцеловать себе щеку. Да, государь ждал послов, об их прибытии ему было сообщено заранее. Пусть послы царя отдохнут, вымоются в бане, а пока он приготовит все, что нужно для пиршества. Слуги откуда-то приволокли тяжелые дубовые столы, изрезанные ножами во время бесчисленных пирушек, где пьяной рукой были нацарапаны какие-то знаки, символы, заклатья, военные и охотничьи карты. Они были облиты вином, обмыты дождями, обсушены ветром, источены короедом. Внесли такие же грубые лежа и табуретки: одни предпочитали возлежать по персидскому обычаю, другие сидеть. Стала появляться и посуда. Она была самая разнообразная. Тут были кубки греческой работы, драгоценные вещицы с тонкой художественной резьбой и литьем, вазы коринфской бронзы, прекрасные амфоры. И наряду со всем этим великолепием здесь находились какие-то уродцы, произведения местных ювелиров: толстые грубые блюда, кривобокие чаши с каким-то подобием орнамента, хотя и золотые. И, наконец, примитивная крестьянская утварь: глиняные светильники с вонючим маслом, глиняные плошки, тарелки, чашки. Все это мирно уживалось друг с другом и было вполне демократично выставлено на столе.

Блеснул македонский государь и по части блюд: они были грубы, но по-царски обильны. Слуги вкатывали прямо в зал из погребов бочки, с треском выламывали крышки, и по всему залу распространились, мешаясь с запахом дыма, благородные испарения старого вина. Вскоре на столе появились и другие чудеса крестьянской кулинарии. Триумфально был внесен целый бычок, зажаренный целиком, весь покрытый зеленью. Затем последовали отряды окороков и колбас, жареные ноги с копытами, стаи птиц, зайцы, косули и кабаны в собственном соку, покрытые печеными фруктами. Иногда кулинары пытались даже блеснуть: кабан был украшен собственной шкурой. На голове, которая скептически улыбалась желтоватыми клыками, блестела золотая диадема, явно помещенная здесь с определенной целью: хозяин недвусмысленно предлагал этот подарок гостям. Подавались и домашние свиньи. Их резали тут же, во дворе, и истошный визг и истерическое хрюканье врывалось в зал сквозь закрытые двери. За мясом последовали жбаны, наполненные медом диких пчел, круги сыра и кувшины молока, жирного и густого; притащили на подносах речную рыбу, жареную, печеную, вареную, соленую; ягоды, которые в этом лесном краю во многом заменяли фрукты; варенья и длинные пироги, горы лепешек с рыбой, мясом, медом и прочим. Персы смотрели на все это со снисходительной усмешкой, эта крестьянская роскошь только еще раз убеждала их, что перед ними не царь, но царек, разбогатевший крестьянин, дикарь, живущий в своих лесах.

Сам царь был одет до неприличия просто, какая-то неопределенная смесь варварской и греческой одежды. Хитон тонкого сукна был прикрыт каким-то зипуном из шкуры медведя, на ногах — полусапожки, на голове, патлатой и непричесанной, блестела диадема — единственный символ власти и роскоши. Наконец все уселись за стол. Государь провозгласил тост за гостей и за царя царей: он признает его силу

и мощь, он верный вассал его (Аминта боялся: в Македонию уже начинали просачиваться персидские части, и он отдал приказ без боя сдавать города). Персы возлежали молча, слышался хруст костей, которые пожирались бегающими под столами лохматыми псами, чавкали люди, трещали сухожилия, да слуги, шлепая босыми ногами по холодному полу, непрерывно стучали черпаками о днища и бока бочек. Наконец посольство разморило: сытное жареное мясо, вино возбудили их, и они кликнули женщин. Те появились. Это были матери, жены и наложницы вельмож и царя, рабыни дома и служанки. Потупя глаза и опустив руки, они стыдливо выстроились в ряд, прислонившись к стенке. Персы скользнули блестящими глазами по их фигурам, мысленно раздевая их. Они быстро затараторили, переводчики молчали. Вдруг один из них, чернобородый, изящный, с пышными усами и бородой, с широким коротким мечом у бедра, с которым он не расставался и на пиру, встал с ложа и подошел к царю. Тот делал вид, что весь поглощен окороком, рядом испуганно застыл стольник-раб. В глазах его была та растерянность, которая бывает у рабов, детей и женщин, когда они чувствуют, что их всемогущий господин на самом деле слаб и незащищен перед еще более страшной и неумолимой силой. Перс, видимо, мертвецки пьяный, молодой и веселый, с богатым ожерельем на шее, наклонился к царю. Он великолепно видел, как Аминте не хочется поворачивать к нему лицо. Но он хотел видеть его, хотел видеть, как глаза царя опустятся, потупятся по-женски, по-детски: он чувствовал детскую незащищенность этого человека, такого сильного и здорового, окруженного в своем доме, в своем государстве вооруженными людьми. Стража, воины стояли в торжественном параде вдоль стен зала. И эта незащищенность при внешней мощи и силе пьянила его сильнее вина. Он чувствовал сладострастие, сладострастие власти, которое доводило желание его тела до томного бешенства. Видя, что царь не подымает головы и сосредоточенно ждет, хотя чувствует, что перед ним стоит человек, перс повернул, усмехаясь, свою голову к товарищам, привставшим с ложа. Они захихикали, открыто, так, чтобы было слышно, чтобы все видели, что они всё знают и понимают. Перс дотронулся до плеча царя. Персы на ложах засмеялись еще отчетливее, еще наглее, он усмехнулся им в последний раз и приготовился встретить лицо царя. Аминта покорно поднял голову, глаза его смотрели устало и грустно, совсем не по-царски. Стражи, которые косились на униженные глаза владыки, вспомнили, что такие глаза они видели на охоте у затравленной косули. Тут персы при виде красивых женщин стали говорить Аминте, что он поступил неуместно и не угодил им. Лучше уж было женщинам вообще не являться, чем прийти, сидеть напротив, как помрачение очам. Тогда Аминта был вынужден приказать женщинам сесть рядом с персами. Но едва женщины успели присесть, как персы стали хватать их за груди, так как напились сверх меры, и некоторые пытались даже целовать женщин. При виде этого Аминта хотя и возмущался, но все же старался сохранить спокойствие, так как сильно боялся персов.

В дальнейшем легенда представила события следующим образом. Персы, воспламенив себя до крайности, решили переспать со всеми этими женщинами. Но тут вмешался сын царя, решивший умертвить посольство. То, что среди послов были представители семи знатных родов Персии, его не смущало. Переодев своих товарищей, еще безбородых юношей, в женское платье, он отправил их с кинжалами в покои персов. Там они, словно данаиды, зарезали своих любовников на ложе любви. Царь персов отправил на розыски посольства отряд, но царь Македонии откупился от начальника отряда большой взяткой, и дело было улажено. Но это лишь патриотическая

легенда. Не было ни сына Аминты со сверкающим взором, ни его безбородых, но смелых товарищей, не было ни ударов клинка, ни крови, ни стонов. Все было гораздо прозаичнее.

Персы спокойно переспали со всеми этими женщинами, а утром ушли назад, увозя в знак покорности сестру царя в гарем главы посольства. Македония была покорена без всякого кровопролития. Царь персов ожидал, что и вся остальная Эллада последует ее примеру, но ошибся. Безумен тот, кто родившись от женщины, желал бы бессмертия, так же не имеет разума и тот, кто хочет противостоять мощи Персидской империи. Но греки были эгоистичны, эгоистичны и развратны и, как всякие удачливые развратники, самоуверенны, они решили, видно, что лучников можно обольстить, как женщин, копьеносцев запутать софизмами, а всадников перебить как перепелов. С послами поступали, презрев заповеди богов: их бросали в колодцы или избивали. Эти акции еще раз подчеркивают необузданную мерзость греческого характера, так как посол был лицом священным и неприкосновенным, а убийство его было святотатством. Один этот факт был достаточным поводом для войны, но Дарию помешало восстание малоазиатских греков-ионийцев. Этот бунт, бессмысленный в своем экстремизме, помешал персам блистательно завершить образование мировой державы, но в то же время имел и положительный результат: он еще раз показал персам, как легко будет покорить Элладу. Не только в самих городах-государствах, раздираемых политической борьбой, нет единства, но и сами города не могут отвлечься от своекорыстных интересов, даже тогда, когда опасность нависла непосредственно над ними.

В годы подавления мятежа ионийцев Фемистокл стал архонтом. Он родился в знатной семье. С юных лет вел жизнь беспутно-веселую. Знатность рода делала его независимым. Летом, в жаркий полдень вместе со знакомыми ему ребятами он лежал на песке на берегу моря. Тихо шумел прибой, волны лениво накатывались на берег, лизали песок и незаметно исчезали. Солнечные лучи падали на его грудь, на загорелые плечи, ребра, пах, лицо, он жмурился, томная истома проходила по телу, и он бездумно улыбался. Глаза немного приоткрывались, и сквозь сеть ресниц он видел зыбкие, пляшущие на холме, синие от марева столбики кипарисов; в полудреме он чувствовал, как тихо шелестят их серебряные листья, как свет пробивается сквозь тонкий зеленый малахит. Ему было хорошо, очень хорошо, но вдруг именно от этого ему становилось грустно — грустно от избытка жизни. Как хорошо, что солнце светит, как хорошо лежать на леске, но ведь так нельзя лежать, нельзя быть вечно. Он желал, чтобы дни эти продолжались долго, долго, всегда. Но этого нельзя, рано или поздно придется оставить и это море, и это солнце. А если смерть, то зачем все это? Вот закрыть глаза — и нет мира: тихо шумело море. Он закрыл уши ладонями — шума не стало слышно, но он ощущал теплый нагретый песок и прижимался к нему. Нет, человек не может быть счастлив, потому что он смертен и должен рано или поздно оставить это солнце, море, песок. Ему становится грустно и одновременно очень сладко. Он смотрит на заходящее красное солнце, на розовые кипарисы и облака, на кричащую чайку, и вдруг невыразимый восторг охватывает его: нет, никогда он не умрет, никогда. Когда придет старость и смерть, он прибежит сюда, на берег, ляжет на песок и оживет, обязательно оживет, потому что ему очень хорошо здесь. Но он снова закрывает глаза, прислушивается к пению волн, и ему снова становится грустно — он, как и все люди, несчастлив. Через многие годы он, на закате жизни,

поймет, что минуты тогда, в детстве, когда единственной печалью, тревожившей его душу, было сознание собственной смертности, были лучшими минутами его жизни, минутами счастья.

Когда Фемистокл вырос, он уже не думал о смерти, а жил вечно: он любил женщин. У него была бездна знакомых, часто очень дорогих гетер. Ему нравилась их игра. Часто эта были такие же знатные женщины, как и он сам. Они шли надменно и величественно, говорили презрительно, не спеша, взвешивая каждое слово. Может, при наличии родителей они были бы смиренными девушками из афинских гинекеев.



Гетера и юноша (Древняя Греция).

Но у них не оказалось ни братьев, ни отца, они не вышли замуж и остались одинокими, но это одиночество давало им свободу. Они отдавались лишь знатным, удачливым или богатым, которые дарили им золотые цепи, ожерелья, покрытые красноватой эмалью на червонном золоте, броши, усыпанные драгоценными камнями. Весь процесс имел у них сложный ритуал. Фемистокл приходил к ним, справлялся о здоровье, о состоянии дел, приносил вино. Рабыня ставила на столики около лож чаши, амфоры с вином и водой и не спеша разливала темную густую медвяную влагу. Разговор был непринужденным. Говорили о поэтах и философах, читали стихи, обсуждали последние политические новости. Никакой развязности, никакой эротики. А если и была эротика в стихах, то лишь какая-нибудь необходимая поэтическая деталь, не более. Солнце заходило, комната погружалась в полумрак. Загорались светильники, но беседа, степенная и размеренная, продолжалась. Наступала ночь, и пламя начинало выхватывать из тьмы неясные очертания лиц и тел. Она вставала и начинала раздеваться. Все это она делала спокойно, уверенно, у самого огня. Красные отблески пламени падали на живот. Он, усмехнувшись, шарил рукой по столику

и залпом допивал килик. В постели ее надменная холодность сменялась животной дикостью. Утром они весьма чопорно и холодно прощались. Перед самым уходом она в изысканно-небрежной форме просила его заглянуть к ней еще раз: в ближайшее время у нее соберутся финансисты, философ, судовладелец, гопплит – поэт, раненый, но прекрасно-мужественный, как Арес. Домой он вваливался измученный. В голове тупо стучала боль, неприятный вкус был во рту. Он проходил в свою комнату осторожно, стараясь не попасться на глаза отцу. Не раздеваясь, падал на постель и засыпал зыбким, неглубоким сном.

Встречался Фемистокл и с потаскушками среднего класса. Он вваливался к ним вместе с приятелями, шумной орущей толпой собутыльников. Рабы, шествовавшие за компаний и принимавшие деятельное участие в попойках и бесчинствах господ, вносили корзинки со снедью и кувшины с вином, лежа тут же сдвигались, так, чтобы рядышком могли уместиться и парни, и девушки, сдвигали в ряд и столы, рабы выкладывали на стол рыбу разных сортов, уже сваренную с каким-то соусом, птицу, жареных зайцев, сыр, вино, и гости с шумом водружались на лежа. Рабы укрывали пирующих одеялами, обрызгивали всех духами и даже обрезали любителям ногти. Затем совершался ряд шутливых возлияний божествам, и кубки опорожнялись один за другим, под громкие крики, тосты и прибаутки затягивали песни:

«О, гряди, Дионис благой,

В храм Элеи, в храм святой.

О гряди в кругу харит, бешено ярый, с бычьей ногой.

Добрый бык! Добрый бык!»

За ней Локрийскую любовную: «О что терплю! Не предавай меня, молю! Уйди! Пора! Вот он войдет к несчастной... Встань! Уж близок день. Взгляни в окно: не брезжит ли рассвет?» Затем следовало уже нечто более определенное:

«Дай воды, вина дай, мальчик.

Нам подай венков душистых. Поскорей беги – охота

*Побороться мне с Эротом».*⁴

В голове шумело морским прибоем, блестели глаза, шептали губы, вскрикивали девушки, кто-то, склонившись над ухом, пьяно ворковал, целовались. Деревенский парень сосредоточенно ел, он не хотел уйти с пирушки, не набив свое брюхо такими вкусными вещами до отказа. Он запускал в глиняное блюдо широкие волосатые лапы, сминал белую массу сыра в какие-то лепешки и отправлял их в рот. Его подзадоривали. Но он был философ и монотонно чавкал. Некий малый, добродушный толстяк, повествовал хихикающим соседкам: «Невыносим был для нас солдат, ох, невыносим. Явился он поздно вечером не в добрый час и нескончаемо надоед нам рассказами о декадах, фалангах, каталунетах, сариссах, деррисах. Он обратил в бегство фракийцев, сразив ударом копья их полководца, он проколол дротиком армянина. Затем он привел и показал пленных женщин, которых получил в награду за доблесть. И хотя я подал ему чашу вина, чтобы избавиться от этой болтовни, он, выпив еще не одну и побольше этой, не перестал говорить».⁵ Прошло немного времени,

⁴ Из поэзии Анакреонта, перевод М. Михайлова.

⁵ Алкифон и Элиан (III век н.э.).

и вот уже сам толстяк, изрядно захмелев, хвастался перед слушательницами своими познаниями в военном деле. Вином он чертил на столе планы укреплений и боевых порядков, доказывая неведомому спорщику, что именно так, а не этак нужно строить войска. Оппонент возражал и приводил контр-доводы. Толстяк трахнул кулаком по чаше – чаша раскололась, посыпались черепки. Толстяк поранил руку, он победоносно потряс ею, неожиданно размяк и, расслабившись на ложе, испустил под себя фонтан блевотины. Девицы, которым он замарал платье, с яростными ругательствами самого непотребного свойства оттолкнули его от себя. Его унесли рабы в соседнюю комнату, и пиршество продолжалось.

Наконец, когда все было съедено и выпито, решали приступить к любви. Все должно было происходить в одной комнате, причем опьяневшие девушки почти не сопротивлялись. Мало того, многие из них сами проявили инициативу, показывая свои познания в этом искусстве. Без промедления, быстро убрав посуду, сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразились они прекрасно для радостного наслаждения, наподобие Венеры, входящей в морские волны, к гладенько выбритому женскому месту приложив розовую ручку скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для того, чтобы прикрыть стыдливо. «На бой, – говорит, – на сильный бой! Я ведь тебе не уступлю и спины не покажу. Если ты муж, с фронта атакуй и нападай с жаром и, нанося удары, готов будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады!» И с этими словами она подымается на кровать и медленно опускается надомною на корточки; часто приседая и волнуя гибкую спину свою сладострастными движениями, она досыта накормила меня плодами Венеры раскачивающейся. Наконец, утомившись телом и обессилив духом, упали в объятия друг другу, запыхавшиеся оба и изнуренные».⁶



Пир (Древняя Греция).

Наведывался он и в вонючие публичные дома порта, с его грязными побитыми девками, бесстыдно повисающими на плечах прохожих. Стены были испачканы непотребными надписями и изображениями. Ночью, лежа между двух проституток, он прислушивался к воплям и визгам, доносившимся из других комнат. Вдруг в коридоре зажегся свет, и щели начинали светиться красными глазами лампад. Слышался крик избиваемой девки и брань какого-нибудь пьяного матроса. Он с интересом смотрел на своих сожителей: худые, с отвисшими маленькими грудями, подведенными глазами, с бессмысленной улыбкой, застывшей на губах, они, не обращая никакого внимания на вопли, машинально продолжали его ласкать. К утру у него три желания: выпить воды похолодней, стать бессмертным и выгнать всех их взащей, да поскорей. Третье по счету желание он выполняет немедленно. Днем он спит, отдыхая от ночи. Вечером вся компания устремляется в портовый кабак. Рассаживаются среди непрерывного звона металлической посуды, стука глиняных чашек, ругани и говора. Кругом сидят обросшие, волосатые, длинноволосые, словно аристократы, моряки, рыбаки, купцы, гребцы – в общем, люд морской и просоленный. Курчавятся бороды, жестикулируют руки, обсуждаются пассаты, течения, уловы, шторма, пиратские набеги, жульничество капитанов, матросский харч и прочие новости.

Фемистокл любил жителей моря, может быть, и потому, что сам был похож на них. Так же, как и они, он был весел, жизнерадостен, так же, как и эти бородачи, он любил деньги и женщин. Слава? К славе он относился пока достаточно индифферентно. Его вполне устраивала слава первого развратника Афин, первого щеголя и первого кутилы. Зачем нужна слава? Слава нужна тем, кто как-то ущемлен жизнью. Слава нужна старикам, уродливым мужчинам и женщинам, калекам, импотентам, меланхоликам и прочим некачественным особям человеческого рода. Он, Фемистокл, здоров, как бык, и полон любви к жизни, у него нет комплексов и желания возвышаться над своими соотечественниками. Жизнь как цель, жизнь для чего-то – разве это жизнь? Жизнь должна иметь ценность сама по себе, и каждое мгновение должно иметь ценность само по себе – это есть истинно греческая жизнь. Он любит город, пьяную толпу, матросов, приятелей, деньги, роскошь и женщин. И каждое мгновение жизни приносит ему радость вне зависимости от предыдущего и последующего. А коль не нужна слава, влияние, власть, то зачем же заниматься политикой?

Приятели рассаживаются за столиками. Заказывают дешевого мителенского вина, которым они щедро угощают сидящих рядом моряков, и заводят разговор на разные животрепещущие темы.

– Скажи мне, Фемистокл, почему ты не пропускаешь ни одну из девок порта, какой бы безобразной она не была? Неужели не хватает тебе достойных, свободнорожденных женщин?

– Друг! Да, я назову тебя этим словом, ибо не раз ты спасал меня на поле любовной брани от ярости вахканок всех сословий, которым не нравилась моя скоротечная верность. Не раз мы с тобой, словно Ахилл и Патрокл, напрягали свое мощное оружие, готовое пронзить пестрообутых противников с двух сторон сразу. Так слушай же: то, что ты предлагаешь, является вещью тиранической и олигархической и явно противной народному правлению. Ведь те грязные потаскушки, которые часто гуляют со мной, вовсе не являются рабынями, но свободнорожденные женщины.

Сам ты знаешь, что в Афинах весьма трудно отличить свободного от раба, свободную от рабыни. И, предположим, я проигнорирую свободнорожденную афинянку. Что подумает народ? Не брезгую ли я простым людом афинским? Нет ли во мне олигархически-тиранических наклонностей? Не желаю ли я сокрушить народное правление? А тут все видят, что я одинаков со всеми — с какой-нибудь евпадридочкой и с женой последнего забулдыги. Тут воистину видна моя демократическая сущность.

— Мудрый ты человек! Тонкий политик! Ибо ты верно подметил, что мужья, братья, возлюбленные всех соблазненных тобой афинянок будут горой стоять за тебя на агоре. А что ты призадумался, что глаза твои переполнились меланхолией?

— Достойный! Понимаешь, женщин, с которыми я предавался любви до двадцатилетнего возраста, я помню, а вот остальных не помню, всех забыл, все слились в одну. Но я не печалюсь, ибо Фемистокл, сын Неокла, выше бессмертных богов. Вот слушай мои доказательства: ты знаешь, что каждому ремеслу, каждой добродетели соответствует на Олимпе бог-покровитель. Гера — покровительница супружества, Афродита пенорожденная — о любви печется вместе с Купидоном, Артемида — девственниц оберегает... Но скажи мне, достойный, есть среди бессмертных богов хоть один, покровительствующий разврату, да такому низкому и грязному, как мой? Нет, воистину, нет. Я же, Фемистокл, сын Неокла, превзошел всех в Афинах в этом ремесле, которого даже боги бессмертные не могут постичь. Итак, я новый бессмертный бог кутежей и распутства.

— Болтун ты.

— Я болтун, да все политики болтуны. Я своей болтовней, по крайней мере, никому голову на морочу. Да и пора нам расходиться, уже вечер, солнце в море падает.

В своем распутстве он доходил до вещей экстравагантных. Днем, когда уже жара спала и агора была полна народу, жители Афин оказались свидетелями следующей сцены. На площадь выезжала колесница, которую вместо четверки лошадей тащили четыре пьяные женщины. На самой колеснице стоял юный Фемистокл, словно Аполлон на своей квадриге. Толпа расступилась и, ничего не понимая, глазела на орущих пьяных потаскух. Но затем произошел как бы маленький взрыв, вся площадь заходила от раскатов хохота. Смеялись молодые бретеры. Смеялись почтенные мужья, улыбались седобородые, а маленький, сухонький старичок трясся от приступа неслышного смеха, который доводил его до судорог. Мальчишки бежали за колесницей, обступали ее и в восторге кидали в нее комья земли, корки и гнилые фрукты. Все тыкали в квадригу пальцами, некоторые предлагали проституткам охапку листьев и веток, другие щипали их за груди и икры, невзирая на их визг и брань, третьи спрашивали у Фемистокла, за какую цену он приобрел таких знатных лошадок. Неожиданно лицо его изменилось, и он совершенно не по-божественному, но по-мальчишески спрыгнул с колесницы и, протискиваясь сквозь улюлюкающую, свистящую и гогочущую толпу, не обращая внимания на руки, хватающие его за полы одежды, выбежал с площади: ему кто-то крикнул, что сюда идет его отец.

Он не шел — это был слух, но он уже узнал о выходе сына и был в диком бешенстве. Отец его был старым аристократом, человеком с принципами. Мать была чувствительной и не раз, видимо, родственники упрекали его отца за позорящий их родовую честь брак. Но отец его, старый, добрый и толстый аристократ-демократ

(а в Афинах были и такие), презрел и это. Он любил мать, и Фемистокл это знал. Он любил и его как своего первенца. Он не стеснял его, он понимал: молодо-зелено, парню нужно перебеситься. Женщины, вино – да он слишком был эллином, чтобы презирать это. Пусть мальчик резвится – два раза в жизни не будешь молодым. Но его раздражало, во-первых, то, что все это длится слишком долго, во-вторых, кутежи сына были слишком грязными, он был неразборчив. Сын знатного и богатого человека не должен унижать род пьянками с уличными девками, не должен шлаться по кабакам, а если он хочет кутить, то должен делать это достойно, прилично и благочестиво: и женщины, и попойки, и товарищи его должны быть выдержаны, как старое вино. Наконец, его начинали смущать невиданные траты, сын сорил деньгами. Устраивал за свой счет попойки и кутежи, которые обычно организуются в складчину, и его дружки являлись на них как ни в чем не бывало, не стыдясь быть паразитами. Он закупает вина на целую таверну и потчует им всякий сброд, а затем его самого обнаруживают пьяным среди луж блевотины и мочи, среди орущих и валяющихся на полу собутельников. То он ввязывается в драки, и его волокут к притонам. То начинает скабрезно шутить и оскорблять почтенных женщин. То его находят в компании рабов и грузчиков.

Отец говорил с ним сначала мягко, убеждал его, что он не противник удовольствий, подобающих его возрасту, но надо знать меру и соблюдать нормы. Он заметил, что после этих разговоров сын стал избегать его, но не прекратил своих пьянок. Он поймал его еще раз утром, когда сын отсыпался после кутежа, и разговор был проведен в более жестких и твердых тонах. Сын сидел молча и разглядывая свои ногти, ему хотелось броситься на шею отцу, сказать ему, что он подлец, прижаться к его щеке, по-детски поласкать его, но вместо этого он вдруг открыто и ясно посмотрел в лицо старика и потребовал денег. Отец опешил и дал: он любил сына и, решив, что сын все понял, не хотел озлоблять его. Но через несколько дней ему снова сообщили о проказах сына.

Фемистокла выручала мать. Она давала ему деньги украдкой. Между ней и мужем происходили семейные ссоры. Отец вскакивал во время семейных трапез с ложа и, разражаясь градом упреков, грозился проклясть Фемистокла и лишить его наследства. Жена просила его успокоиться и украдкой смахивала слезы. Она говорила, что ему вредно так волноваться. Он свирепел еще больше, брызгал слюной, грозил всех выгнать на улицу, затем после шторма следовал штиль, и он, опустившись в кресла и тупо уставившись в пол, зажимал виски руками и просил холодной воды. Со временем эти припадки не стали реже, но отец стал более задумчивым и как бы безразличным к окружающим, в нем появилась какая-то холодная отрешенность отчаяния. Он, не оборачиваясь, проходил мимо сына, с каким-то болезненным сладострастием радовался, когда тот отсутствовал при семейных обедах. Боль и страдания опустились у него куда-то вниз, и там, в глубине души, происходила болезненная и страшная для него работа – он вырывал сына из своего сердца.

Последняя выходка Фемистокла переполнила чашу терпения, плотина прорвалась. На следующий день глашатай объявил на площади Афин, что Неокл отрекается от своего сына, и отныне тот не может претендовать на наследство.

Мать, узнав все это, слегла и больше уже не поднялась. Но эта проделка как будто истощила изобретательность и самого Фемистокла – он пресытился, «удивил» и пре-

сытился, ибо больше удивлять было нечем. Были мальчишки, были скандальные связи с аристократами, были коллективные совокупления, были попойки и публичные дома, были драки – и теперь он почувствовал, что он насыщен опустошением, в душе остался беспорядочный пьяный осадок, пустота и какая-то бешеная жажда деятельности. Он заразился тщеславием, бешеным, таким же, как и его сладострастие.

Боги Греции – они рядом. Они гуляют среди людей, они сливаются с ними, они подобны героям, а герои – богам. До бога можно дотронуться, в жилах смертных, но бессмертных в памяти людей героев течет божественная кровь. Человек может стать богом, может застыть прекрасной статуей, которой сограждане увековечат твои подвиги. Бог осязаем: ему приносят деньги и золото, он совокупляется с женщинами, воюет с другими богами, возносится на Олимп и пирует с друзьями. Бог не абстракция, не фикция – человек тоже может стать богом. Это не Персия – это Афины. А Фемистокл, сын Неокла захотел стать богом, потому что он был сыном Афин и был молод. И если он раньше чурался политической деятельности, то теперь начинает яростно ей заниматься. Он завоевывает популярность так же, как раньше кутил. Отец, видя, что сын его переменился, сменил гнев на милость: он снова принят в лоно семейства. Фемистокл не пропускает ни одного собрания, непрерывно выступает на агоре. Его глаза горят и руки жестикулируют, его пьянит, возбуждает, словно женщина, шум толпы, крики, восторги, улюлюканье, хохот, топот, рев: то словно тысячеустое чудовище, толпа рычит, готовясь растерзать невидимого или видимого врага, то вдруг она становится покорной и ручной, ласковым зверьком, ластится к оратору, трется спиной о его колени. Он выходит после собрания изможденным и потным, но без того чувства опустошенности, которым обычно кончались его попойки. Мало того – политика начинает вытеснять их: в тесном кругу приятелей он обсуждает не достоинства бедер той или иной гетеры, как это было обычно, но столкновения партий, шансы кандидатов на победу. Разговор часто тянется вплоть до самой ночи. Похлопывая приятелей по плечу, он говорит им, что когда он достигнет власти, они не будут забыты. Он совсем не похож на государственных мужей, готовых на алтаре своего беспристрастия зарезать родную мать, для него государство – это кормушка, с которой и сам будет сыт и даст своим друзьям поесть. Они смеются. Не то, чтобы они полагали, что он не достоин власти и почестей, наоборот, они считали, что для этих дел он кандидатура подходящая – он слишком походил на них, а себя они очень ценили и уважали, даже тогда, когда пьяными валялись на полу среди проституток. Нет, дело было в другом. Они были игроками и просто не верили, что в жизненной игре кому-нибудь из них удастся выиграть власть всеобъемлющую, почти тираническую. Поэтому, когда Фемистокл рисовал перед ними радужные картины своего будущего блистательного возвышения, все искренне смеялись. Некоторые с улыбкой спрашивали его, какую должность в будущем правительстве они получат, как будут им облагодетельствованы, на каком теплом местечке они погрееют постаревшие к тому времени кости. Молодость проходит, любовь стоит им все дороже и дороже, а денег у них все меньше и меньше, и поэтому они совсем не против того, чтобы запустить руку в государственную казну. Он щедро одаривал друзей должностями и деньгами. Все смеялись и благодарили Фемистокла за щедрость, он же обижался, так как все эти подношения несуществующих благ он делал совершенно серьезно. Улыбки задевали его самолюбие, и он фыркал на хохочущих приятелей разгневанным котом.

Между тем, отец был поражен переменной в характере сына. Он полагал, что у него вырос безалаберный подонок, и даже сомневался, зачал ли он его? Его ли это сын? Но теперь он увидел, что кровь Неоклонов дала себя знать. Только его сын мог быть таким яростным в наступлении честолюбий. Связи с сыном были снова налажены, проклятие снято, и семейный мир восстановлен. Первоначально отец был обрадован тем, что сын его отошел от попоек и кутежей, но потом радость его сменилась беспокойством. Он не был противником честолюбия, как и здоровых удовольствий. Но и в женщинах, и в политике, полагал он, не должно быть грязи. Во всем должно быть благородство, чистота, идея – это унаследовал он от духа своих предков. Он был аристократ, а аристократы не любили софистов. Их любила афинская демократия. Старый Неокл не мог жить без принципов. Поэтому он не любил политической борьбы, которая в демократических Афинах не могла быть без подвохов, цинизма, подкупа, демагогии, грязи. Кроме того, от политики его удерживали и чисто практические соображения. Там, где царствует ложь и цинизм, там нельзя быть в безопасности. Это жизнь среди бандитов – сегодня ты обманул соперника, безжалостно перерезал ему глотку, а завтра другие, более удачливые, перережут глотку тебе. Он отряхивает прах ее со своих ног, но он честен, он любит свою страну, и для него Афины и кучка демагогов не одно и то же. И если надо будет защитить эту землю, он возьмет в свои руки копье. Он готов участвовать и в общественной деятельности, но только там, где нет грязи, где нет профанации гражданских обязанностей. И увлечение, чрезмерное увлечение сына политикой вскоре опечалило его не меньше, чем предыдущие попойки. Раньше он думал, что его сын просто животное, которому нужно только удовлетворение своих простейших инстинктов. В принципе это еще не самое худшее – человек хотя бы может, а он на это надеялся, сохранить известную непосредственность сердца. Но тут было другое: сын его оказался расчетливым циником, подонком политическим, он торговал святым, он становился политиком, не веря ни во что, кроме собственной выгоды. Солон мог добиваться власти – за ним была программа, а что за его сыном? У него одно – выдвинуться, выдвинуться во что бы то ни стало. Неокл любил сына и хотел поговорить с ним по душам.

Был ранний вечер. Солнце еще светило, но не жарко. Пыльная дорога успокоилась, как море после шторма, и ноги блаженно утопали в ней. Наверху, на склонах гор сплошной массой рос темно-зеленый кипарис. Изломанная линия берега с близлежащими островами четко вырисовывалась на горизонте, оправленная в совершенно спокойное и какое-то зеркально-тихое море. Они спустились по тропинке к берегу и побрели по прибрежной гальке. Волны тихо набегали на нее и, пошуршав о камень, ласково откатывались назад. С моря дул прозападный и чуть едкий ветер, пахнувший солью, йодом и свежестью. По камням бегали какие-то птички, вспархивающие при приближении человека с недовольно-веселым чириканьем. На берегу валялись куски дерева, выброшенные морем. Тут же стояла и старая триера. Это была очень старая триера, бока ее отвалились, обнажив черные ребра. Дна тоже не было, и по гальке шныряли крабы. Неокл сел на валун возле триеры. Сын его, подойдя к ней, стал стучать по гнилым доскам, отламывать их – они легко поддавались. Корабль, как умирающий человек, не сопротивлялся. Рядом с этой триерой находилась другая – она уже умерла. Вместо корабля был один обглоданный скелет. Старик в какой-то сонной блаженной расслабленности смотрел на море, на корабли, на заходящее багровое солнце. Он каждым нервом своего тела, каждой порой чув-

ствовал воздух, камень, слушал шелест волн. Он находился в том умиротворении, когда под влиянием солнца и свежего воздуха тихая грусть находит на стариков: им жалко покидать этот мир, но не страшно, в это время чувствуется легкое и полное единство с миром, особенно отчетливо ощущается блаженная радость быть живым, живым без всякой цели, без всякого смысла. Старик посмотрел на мокрицу, ползущую по шероховатой поверхности камня. Он подставил ладонь, и она переползла на его кожу, он почувствовал прикосновение ее лапок. Он почему-то подумал о сыне как о чем-то постороннем. Рука его опустилась, и мокрица юркнула в щель. А интересно, есть ли у мокриц Аид? – он удивился, что подумал об этом серьезно, не усмехнувшись, а он любил улыбаться самому себе – это возвышало его в его же собственных глазах.

Рассматривая галеру, ту, которая была, рядом, совершенно мертвую, он вспомнил, как однажды еще в молодости, рабы под его присмотром рыли яму для каких-то хозяйственных надобностей и наткнулись на стародавнее захоронение: в яме лежал воин, на скелете была бронзовая чешуя, рядом лежала посуда, фигурки, позеленевший боевой топор и кинжал. Тут же были найдены и драгоценные вещи: крученное массивное ожерелье грубой работы, золотые бляшки, сердоликовые бусы, золотая чаша с изображением льва, раздирающего вопящего охотника – охотник был придавлен львиной лапой, хвост льва был яростно поднят, в боку его торчало древко дротика или стрелы, рядом с охотником лежало другое копье. Он был молод, и ему нужны были деньги. Он вместе с товарищами решил ограбить мертвеца, но об этом узнал отец, приятель удрал, его же доля была отобрана, а сам он избит – и чуть не выгнан из дома. Могила была зарыта, совершены очистительные обряды. Но несколько бляшек ему удалось спасти, он продал их, а деньги прокутил. Затем в памяти его возник череп и скелет: череп был зеленым от бронзовых нашивок, некогда покрывавших его матерчатый шлем, двух зубов не хватало, но челюсть держалась крепко, он даже шутя открывал и закрывал ее. Он выбил из черепа землю – это он тоже хорошо помнил, и в его полости обнаружил белесую личинку с черной головкой. Личинка была толстая, упругая, при прикосновении она извивалась, как связанный человек. Он раздавил ее. Интересно, в каком возрасте умер этот воин? Какие мышцы были на его руке (рука тоже всплыла в его памяти)? Должно быть, это была сильная рука – он представил кости кисти, сильные фаланги пальцев. Взгляд его перешел на черные выступающие шпангоуты, обглоданные кости корабля. Хорошая была триера – жаль, что умерла. Все когда-нибудь должно умереть, нет ничего вечно-веселого, сказал Фемистокл, и, размахнувшись, кинул плоский голыш в воду. Тот подпрыгнул несколько раз, задевая чуть-чуть поверхность воды, и исчез. Он молод еще, еще молод. Только молодой и сильный может говорить так просто и безжалостно эту неоспоримую истину – все должно умереть. Неокл посмотрел на сильное и простое лицо сына. Нет в нем нет ничего аристократического, простое и жизнерадостное лицо. Такие хотят долго жить, очень долго жить, такие не кончают с собой никогда. Они будут жить назло всем. Они живут, даже если от них отвернутся друзья, даже если их проклянут родная мать и отец. Они будут жить даже назло себе. Они слишком пьяны вином жизни – может быть, поэтому и опьяняют людей.

– Тебя обманывал кто-нибудь?

– Конечно, отец – женщины. Но я их тоже. Так что мы квиты.

— А друг, настоящий друг, которому ты доверял, как себе? С которым можно сесть и молчать. Вот так просто, как мы с тобой. Такого нет? Так вот, если этот друг тебя предаст? Сделается частью тебя, а затем плюнет тебе в лицо? Обманет тебя, пользуясь твоим бесконечным доверием. Если он очарует тебя как женщину, а затем бросит?

— Отец, я не был ничьим любовником.

— Я говорю не про это. Ты чрезмерно увлекаешься политикой. Я не против того, чтобы ты участвовал в делах государства, хотя я отношусь к этому образу правления критически. Мало того, я не жду ничего доброго и в будущем от него. Господство черни, которое вы называете демократией, а я охлократией, никогда не будет способствовать процветанию этой страны. Но не в этом дело. Я не хочу переубеждать тебя, с этим я опоздал. Я хочу тебе сказать о другом. Ты становишься профессиональным политиком. Сама политика вещь не совсем чистая — это ты знаешь лучше меня. И методы тут применяются соответствующие. И ты знаешь, как поступают с теми, кто оступился, кто навлек на себя неудовольствие демоса — тех давят, давят безжалостно, как мокриц. Ты знаешь, как народ смотрит на политиков. Для них вы лошади, которых бросают у дороги подыхать, если они заезжены. Посмотри на эти триеры — они были хорошими слугами моряков. Когда они были молоды и сильны, их холили, мазали смолой, сушили якоря и весла, свертывали и убирали парус, но как только они состарились — их выбросили, как ненужный хлам. Так поступает афинский народ со своими вождями.

— Я скорее обману кого угодно, чем кто-либо обманет меня.

Он циник. Может быть, это и к лучшему. Может быть, именно такой и сможет выжить среди них.

Неокл почувствовал, что разговор будет бессмысленным. Отец с трудом встал и медленно вместе с сыном пошел вдоль берега. Было почти темно, яркая Венера светила на чернеющем небе.

Угроза персидского нашествия становилась все явственнее. По разному реагировали на нее афиняне. Большинство относилось к персам достаточно благодушно или — в лучшем случае — с теоретической ненавистью. Конечно, во время пиров, гуляний и прогулок или просто сидя на дворе дома можно было осудить царя как душителя ионийской свободы. Но царь царей был далеко (во всяком случае, так казалось большинству), во-вторых, каждый надеялся на соседей.

Феанид, который дожил до эпохи греко-персидских войн, предлагал мирно пировать, «не страшась длинноволосых мидян». Правда, и его охватывало патриотическое воодушевление, во время которого он порицал своих собутыльников за равнодушие к общественным целям: он взывал к гражданам, требовал от них экстаза самопожертвования. Но кратковременный период патриотического восторга сменялся апатией и равнодушием. Он старик, к чему патриотические вопли? Ведь кроме политики есть высшая метафизика, жизни: он человек, он рождается и умирает, и что ему сего вечной и великой проблемой, несмотря на ее бесчисленные повторения, до этих самых мидян? Ему нужно поскорее насладиться теми немногими солнечными днями, которые даровали ему боги. И он снова погружается в поэтический, метафизический и, наконец, в прозаический запой. Молодежь веселилась, рожала детей, работали мужи, доживали жизнь старики. И персы были лишь объектом

для разговора, не более. Но не у всех. Были и те, кто понимал неизбежность столкновения, неотвратимость войны. Эти граждане были согласны, что к войне нужно готовиться. Вопрос был в методах, на что делать упор: на сухопутные или на морские силы? Проблема эта была не только военной, но и политической. Если возьмет верх морская партия, то необходимо будет вложить в строительство флота большие деньги. Естественно, что за этим последует резкое усиление тех, кто так или иначе связан с морем, а следовательно, и с торговлей. Если строить флот и делать ставку на море, то необходимы военные базы, перекрывающие проливы, необходимо укреплять порты и строить новые. База или флот, порт или колония в далеком Понте Эвксинском может служить не только для войны, но и для мира. Эта политика приведет к резкому ущемлению Афин как торгово-промышленной державы. Сторонники земледельческой партии утверждали, что никакой успех на море не решит исхода войны. Пока враг находится на территории Эллады – она его. Только разгром на суше заставит противника повернуть назад. Нужно делать ставку на тяжело вооруженного гоплита, а следовательно, нужно поддерживать среднее и зажиточное крестьянство – социальную базу тяжелой пехоты.

Когда Фемистокл видел Мильтиада, встающего на бему и начинавшего медленно и уверенно говорить, говорить тихо и мерно, спокойно и немного властно, он становился противен самому себе. Он чувствовал себя подонком, кривляющимся паяцем, и больше всего его бесило то, что Мильтиад не унижал себя мстостью, но говорил только по делу. Когда Фемистокл приходил домой после неудачной речи, после пустых словопрений в совете, он был искренне влюблен, влюблен в Мильтиада, как девочка. В сознании появлялся его величавый образ. Бессмертный бог и тварь, пытающаяся ужалить небожителя. В эти минуты ему хотелось все это бросить, бросить к черту. И он уходил из города за городскую стену к порту, к морю. Сидя на парапете, свесив ноги, он в каком-то забытье смотрел на мирно колышающуюся черную воду под ним. «Вот что делает жизнь вполне счастливой. Дорогой Марций, тебе скажу: не труды и доходы, а постоянный очаг с обильным полем, благодушие без тяжб, без скучной тоги. Тело, смолоду крепкое, здоровье, простота в обращении с друзьями. Безыскусственный стол, веселый ужин. Ночь без пьянства, зато и без заботы, ложе скромное без досады нудной, сон, в котором вся ночь как миг, проходит, коль доволен своим ты состоянием, коль смерть не страшна и не желанна...».⁷

Вскоре умер отец. Вечером его принесли рабы – ему стало плохо во время прогулки. Подхватив под мышки грузное тело с полузакрытыми глазами, они втащили его в дом – неожиданно и резко распахнув дверь. Его осторожно понесли на кровать, отец тяжело дышал. Фемистокл возвратился из совета, утром он снова должен был выступить. Он подошел к отцу. Мысль вспыхнула и угасла в мозгу: как некстати, не сейчас, в другой раз, в другой раз было бы лучше, а сейчас ни к чему. Через секунду ему стало противно от самого себя, он удивился, что мог рассердиться на отца, который помешал ему сосредоточиться на завтрашнем разговоре. Но мысль снова вкралась в мозг: некстати, некстати, можно было подождать, если уж суждено. Но вслух он произнес: «Что с тобой?» – и слегка пожал руку отца. Она была мягкой, вялой и холодной, он сразу ощутил это своей горячей ладонью. Рука попыталась сжать его пальцы, рука боялась. Он тоже испугался и резко отдернул ладонь. «Ничего отец, ничего, все пройдет», – сказал он. Его охватил страх, и, хотя сердце противи-

лось, разум бесстрастно задал вопрос: «А вдруг сегодня ночью?» Отец мучился: словно у рыбы, выброшенной на берег, его рот судорожно открывался и закрывался, на лбу выступил пот. Он посмотрел на пальцы отца, пухлые и мягкие, которые при каждом вздохе хватались за кровать. Они были слабы и не могли толком сжаться. Было поздно, очень поздно, и ему нужно было идти спать. Он посмотрел на лицо отца и на его тело: бесформенное, огромное, тяжелое, кусок мяса, голова была такая же оплывшая, с тройным подбородком. Отвратительное тело, жалобно-отвратительное тело. Неужели это его отец? Неужели этот человек когда-то был гибким и сильным, неужели это тело когда-то оплодотворило его мать, а затем из ее лона вылез вместе с пуповиной красный, вопящий сморщенный комочек – он, Фемистокл, сын Неокла? И неужели когда-нибудь он тоже будет таким же оплывшим, с блестящей лысиной, с отеком живота, с дряблыми колышавшимися грудями, с голубоватой жилкой на вытянувшейся и безвольно опустившейся руке? Он испытывал даже не страх, а какое-то мучительное любопытство. Он попытался найти на теле что-то живое, на что без отвращения можно было бы смотреть. На него из-под обвисших жирных бровей смотрели глаза отца – из пещеры глядели маленькие, еле заметные огоньки. В них, подобно драгоценностям, мерцал страх, страх затравленного беспомощного животного или ребенка. Что-то защищало его глаза, он дотронулся до них рукой, на ней остался влажный след. Он отвернулся и вышел. По улице он шел долго и быстро. Прошла ночная стража. Проплыли в темноте красные огни факелов. Послышался отдаленный смех и говор. Вспыхнуло окно красноватым блеклым светом. От быстрой ходьбы он вспотел и с жадностью дышал прохладным воздухом ночи.

Он свернул за угол и наткнулся на процессию, которая живо напомнила ему дни молодости. По улице шла пьяная компания. Впереди шел малый, игравший на свирели, рядом звенели колокольчики, привязанные к палке – их держал мужчина огромного роста, толстый, оплывший, с проступающей сквозь горы жира атлетической мускулатурой, на лбу, украшенном лавровым венком, блестела плешь. Скучные волосики были пострижены весьма коротко. Вокруг толпились рабы с факелами и светильниками. Процессию завершала мертвецки пьяная молоденькая девушка. Она шла, оперевшись на двух рабов, которые ее с трудом волокли. «Все попользовались», – подумал он. И вдруг возмутился. Как же так? Как могут они быть такими веселыми, такими жизнерадостными, пить, веселиться, когда его отец умирает? Как отвратительно звенят колокольчики, отвратительно громко и мерзко. Какая у него веселая, отвратительно веселая рожа. У него, наверное, никто не умирал. Ему захотелось подойти к высокому малому и сказать, что у него, Фемистокла, знаменитого Фемистокла, которого все должны знать, умирает отец, и малый должен немедленно прекратить звенеть своими погремушками и колокольчиками и выразить ему свое соболезнование. Ему захотелось, чтобы на этих лицах появилось слезливое и испуганное выражение, чтобы все стали говорить ему: «Мужайся! Ничего! Не горюй, это неизбежно», — и другие подобные слова. А он бы сказал им, что он держит себя в руках, хотя ему и очень тяжело, что ничего, спасибо, и пусть они веселятся, это ему не мешает. Наоборот, ему приятно видеть, что жизнь продолжается и афинский народ веселится и радуется ей. Но процессия даже не заметила его, а продолжала в каком-то вакхическом безумии, пьяно качаясь, идти вдоль улицы, звенеть бубенчиками и оглушительно пищать свирелью. Он захотел сейчас же их окружить.

Он вдруг яростно возжелал деспотической власти, именно деспотической, и изрубить всех, а девуку эту отдать солдатам, а затем тоже прибить. Но какая-то сила тянула его к ним и не давала уйти. Он прошел с процессией довольно долго, ветер усиливался, и бубенчики даже тогда, когда их не трясли, мелодично позвякивали, разорванное платье девушки развивалась, словно шлейф. Сердцебиение его прошло. Орущие песню приятели тоже успокоились. Свирель перестала играть, девушка спала на ходу, повиснув на руках рабов, два малых устало брели, колебался свет факелов и светильников; наверху в черном небе светил яркий белый месяц, ненадолго скрываясь за серыми низкими облаками. Свежий холодный ветер бил прямо в лицо, ероша волосы. Он посмотрел на девушку, окинул взглядом ее стройную фигуру. И вдруг в нем вспыхнуло яркое и сильное желание. Оно быстро освежило его сердце и мозг. Тело почувствовала себя здоровым и сильным. Он улыбнулся самому себе. Да нет, все будет хорошо, все окончится хорошо, с отцом уже не в первый раз так было, это не страшно. Он придет домой и узнает, что все хорошо. Отец выпится и поправится. Ему нужно немного отлежаться и быть в тени, сейчас такие жаркие дни. И нужно похудеть, он сильно потолстел за последнее время, совсем расплылся.

Когда Фемистокл вернулся домой, ему сообщили, что отец заснул. Он успокоился, разделся и, поворочавшись в постели, уснул крепким сном, попросив рабов разбудить его утром. Утром его толкнул в бок раб: «Вставай, господин». Он вскочил с постели, протер заспанные глаза, пошевелил пальцами ног, хрустнул костями. Солнечный свет плеснул из щели окна. Он улыбнулся: «Что с отцом?» – он хотел, чтобы голос прозвучал тревожно и беспокойно, а, вопреки его желанию, он был жизнерадостным и веселым. Но ему понравился собственный голос. «Плохо, господин», – раб поднял голову и посмотрел на Фемистокла (он сидел на корточках и завязывал ему сандалии). Фемистокл спрыгнул с кровати и с незашнурованной сандалией вбежал в комнату, где лежал отец. Комната была солнечная. Лучи света снопом падали на кровать отца, на пол, оставляя на нем яркие пятна. В воздухе лениво жужжали мухи. Грудь отца судорожно и отрывисто поднималась, как будто сердцу было тесно под бесформенной грудой мяса. Он подошел к отцу – и взял его руку с твердым намерением не выпускать ее. Рука была такая же холодная, как и вчера. Он снова почувствовал холод смерти и отдернул ладонь.

Отец все понял, и он увидел это по его глазам. Но в них уже не было прежнего детского страха, они уже примирились с неизбежным. Сердце его хотело, чтобы сын остался, но разумом он понимал, что они чужие друг другу, и поэтому он сказал тихо и твердо, Фемистокл не ожидал от него такой твердости: «Иди, мне немного лучше. Через дня два встану, не в первый раз, у тебя сегодня важная беседа в совете, нельзя все ломать из-за такого пустяка, у Афин должен быть свой флот. Иди, мой сынок». От последнего слова сердце сжалось мучительной и сладкой болью. Он постоял еще некоторое время, судорожно и бессмысленно сжимая пальцы, и вышел. Был чудесный теплый осенний день, истинно аттический день. Прекрасная осень: желтые, зеленовато-желтые, красно-медные и бурые, как будто выкованные из бронзы, листья на тротуарах; кора деревьев ясная и отчетливая каждой своей трещиной, листья, подсвеченные солнцем; зайчики от лучей света в кронах; стрекошущие, еще не успевшие умереть насекомые; воробьи, слетающиеся нахальными табунами к корке хлеба. Люди были веселы и жизнерадостны. Шли молодые пары, степенно шествовали бородатые мужи, спешили куда-то, завернувшись в гематион, деловые

люди, выставив вперед всесокрушающие лбы, мельтешил рваный и грязный трудовой люд. «Какие глупые эти люди, – быстро и беспорядочно пронеслось в его мозгу, а затем исчезло так же быстро, как и появилось, – какая глупость вот так улыбаться. И эти люди умрут, умрут так же, как и воробьи, как эти насекомые, потому что и я, и мой отец, и эти люди такие же комары, как и тот, что сел мне на руку».

Он дует на комара, но тот полагает, что это ветер и сопротивляется, и упирается лапками, топорщит крылышки, усики упруго нагибаются. Наконец он сваливается с руки и исчезает. Фемистокл видит мохнатую гусеницу, пытающуюся переползти дорогу, она ползет быстро, ее мохнатое тельце судорожно изгибается. Сзади идут люди, много людей, целая толпа, она обязательно раздавит ее. Но он не хочет ее спасти, хотя сердце и просит за маленькое мохнатое существо. Он ждет, он доверился судьбе. Он замечает, что сердцебиение, так тревожившее его раньше, проходит. Сердце бьется в каком-то глубоком колодце – легко и слабо. Ему становится безразличен и он сам, и отец, и все эти люди. Зачем он шел в совет? Его не интересовали ни афиняне, ни флот, ни персы, ни Мильтиад, ни собственная карьера. Он чувствовал одно, чувствовал это сердцем – ему необходимо забыться, а для этого ему нужна цель, хотя бы и мнимая.

Он вышел к площади. Он сильно ослабел, да и не имел никакой охоты сопротивляться прохожим, хотя раньше с удовольствием противостоял их потоку. Он ударялся о чьи-то плечи, животы, руки, толпа крутила его, как быстрая река неопытного пловца, и сам он относился к толпе именно как к чему-то неживому. Вошел в здание совета, в котором был десятки, а может быть, сотни раз, но заметил, что входит сюда как будто впервые. Все здание было для него чужим и незнакомым, до удивительности новым, а главное, совершенно ненужным. Он оглядел еще раз овальный зал, подымавшиеся как в театре ступени и сидения, статуи богов и героев-покровителей, куполообразный потолок, узкие прорезы окон, плиты пола.

Был перерыв между заседаниями. Здание гудело от шума, люди вбегали и выбегали, сновали тут и там, сидели на скамьях и что-то обсуждали, жестикулируя, ходили по круглой арене, где обычно произносили речи ораторы, стояли у колонн; кто-то тут же завтракал: была вынута из торбы сушеная рыба, оливки, лепешки, из глиняного сосуда с широким горлом лился в открытую глотку горячий суп из протертого гороха; кучки людей, бегающие секретари с письменными приборами подмышкой и свитками папируса. Он бесконечно устал, вяло и беспомощно ползли мысли в размягченном мозгу. Почувствовав слабость, прислонился к колонне. «Они не обращают на меня никакого внимания, – думал он, – так и должно быть. И их жизнь будет лучшей мстью им самим. Когда-нибудь они столкнутся со смертью один на один и будут также одиноки, как я. Нет, я не получу положительного ответа о флоте. Я не получу флот». Он думал, что мысль давно умерла, но, поскольку она была жива, ему нужно было действовать, и он протянул руку к человеку, видимо, секретарю, который оживленно беседовал с солидным толстяком, степенно и мерно кивающим своей абсолютно лысой головой. Секретарь улыбнулся стандартной улыбкой и что-то сказал ему. Фемистокл ответил. Он думал о себе, как о третьем лице: что он сказал секретарю и что ответил тот ему, он не помнил. Он произносил фразы совершенно машинально. Его внимание привлекла одна из настенных фресок, оказавшаяся в поле его зрения. Ахилл убивал Троила. Тот упал на колени. Рука Ахилла схватила его за длинные волосы и гнет к земле. Лицо Ахилла искажено дикой яростью, ноздри

расширены, мышцы напряжены, узкий прямой меч подведен к самой шее Троила и готов через секунду вонзиться в белое мясо. Лицо Троила чуть повернуто к зрителям, глаза широко раскрыты, а из полного, чуть приоткрытого рта, молящего о пощаде, вот-вот готов вырваться предсмертный хрип. «И душа его в темный ад устремилась», – вспомнил он слова Гомера.

Он почувствовал прикосновение руки. Секретарь с удивлением смотрел на Фемистокла: разговор был давно окончен, а он все стоял, вперив взгляд в противоположный конец стены. Секретарь повторил. Фемистокл уловил только конец фразы, но понял, что совет вынес положительное решение. Радостная струя помимо его воли влилась в мозг. Когда он шел в совет, то думал, что сейчас любая весть будет восприниматься им с философским равнодушием. Но оказалось, что он ошибся, ноги сами собой быстрее зашагали по тротуару, легче и бодрее стало телу. «Флот будет, будет обязательно, – думал он, – они поняли, что будущее Афин на воде, что соотношение сил на море позволит нам победить. На суше мы обречены, у всей Эллады нет и десятой доли тех солдат, что у царя царей. Они умнеют. Ведь это мудрый, прекрасный народ». Он забыл все, о чем думал несколько минут тому назад. Звонкие, веселые, уверенные и блестящие мысли снопами искр влетали в мозг, сплетались в предложения и фразы, такие же огненные и прекрасные, как и слова. «А отец? Отец должен выжить... Он должен знать, что собрание почти одобрило бюджет, что я не бездарный дурак, что я не подлец, что его сын не подонок. С ним считаются. Я приду и скажу ему, что совет положительно отозвался о проекте, и он сразу поправится. Здоровый дух породит здоровое тело». Он совершенно ясно представил себе картину: он входит в комнату, где лежит отец, укрытый простыней, и говорит ему радостно и возбужденно: «Отец! Мы победили, бюджет почти одобрен советом и народным собранием. У Афин будет флот!». А он: «Это твоя победа, мальчик. Это хорошо, что ты не сдался. Это хорошо. В тебе моя кровь, ты не отступаешь при поражениях». Фемистокл сядет рядом на табурет – любимый табурет отца с львиными ножками, который был подарен ему еще его дедом, и будет говорить с отцом весь вечер, всю ночь. И отец не устанет. Наоборот, от этого разговора ему станет лучше. Они обсудят все в деталях – кому отдать заказы, какой лес использовать для каркаса, а какой для обшивки, откуда получить смолу, как подготовить гребцов. Они зажгут светильники и будут сидеть до самого рассвета. Рабы принесут легкое вино. Он будет пить и предложит отцу. Сначала отец откажется, скажет, что ему запрещают врачи, но затем, поддавшись на его уговоры, согласится. Он будет пить это легкое вино, и то ли от вина, то ли от светильников лицо его станет красным и веселым, будут блестеть из-под жирных бровей маленькие угольки глаз. Ему принесут подушку, подложат под голову, он обопрется на нее, поднесет к губам чашу с вином и расскажет сыну, немного опьянев от этого легкого, совсем некрепкого вина, как в первый раз познакомился с его матерью, какой тогда был на ней наряд, что они говорили тогда друг другу, что смешное сделали он и она, когда в первый раз поцеловались. Потом как родился он, какие штуки он выделял в детстве, каким мерзким ребенком он всегда был. Под утро отец заснет: он бережно прикроет его тело одеялом, свежий ночной воздух будет литься из окон. А днем отец встанет веселым и радостным, бодрым и здоровым. А когда отец совершенно поправится, они уедут в деревню, в их поместье. Там они будут валяться до одурения в траве, жевать травинки, просиживать вечерами у реки, ловить рыбу, с хрустом есть яблоки, метать огрызки в голубей

и в сладкой дреме смотреть в синее, бесконечно синее небо, неподвижно и величаво расстилающее над миром свой ковер. «В пору, когда артишоки цветут, быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада звонкую песню свою средь томящего летнего зноя, козы бывают жирнее всего, а вино всего лучше».⁸

Он быстро дошел до дома и с радостным возбуждением постучал в дверь. Слуга загородил ему вход и, как бы готовя его к страшным словам, сказал почтительно и скорбно: «Господин. . .» Он ничего больше не произнес, но по опущенной голове и по суровой строгости слов Фемистокл сразу понял все. Но сердце его не верило: как может это случиться, когда ему так хорошо. Сердце не могло сразу примириться со смертью, и глаза некоторое время продолжали с блаженно-радостным недоумением смотреть на слугу. Но постепенно глупо-детская жизнерадостная улыбка сошла с его лица.

Он вошел в комнату. Он увидел совершенно голый труп отца, лежащий на столе. Сердце рухнуло в глубокую пропасть, он физически почувствовал его падение. Отец был голый, совершенно голый, это было отвратительное мертвое тело. Огромный вздувшийся белесый живот с ниспадающими складками, такая же белесая, безволосая, дряблая, как у старой женщины, грудь, ноги — вздувшиеся, с просвечивающимися венами, багровыми синяками, неподвижное, как у египетской статуи, лицо. Он остановил свой взгляд на пальцах ног: бурые, серые, искривленные и деформированные, кое-как обстриженные ногти. Огромная голова, жирная и массивная, утонула в подбородке, казалось, что шея не выдержала тяжести головы, сломалась. Он смотрел на все это с каким-то сладострастным ужасом. Он был зачарован смертью. Хотя ему было страшно и противно, он подошел, помимо своей воли, к трупу и взял его холодную и мягкую ногу. Почему ногу — он сам не знал. Он взял ее и приподнял, она со стуком, показавшимся ему очень громким, упала на стол. И вдруг этот звук как бы ожег его — он отскочил от стола и сел в другой конец комнаты на табурет. Теперь никакими силами нельзя было его заставить смотреть на труп. Ему вдруг почудилось, что он сам подвергается какой-то смертельной опасности, сердце забилося, его охватил дикий, панический страх. Слуги почтительно встали около господина. Слуги предложили поесть, но он отказался. Ему казалось, что если он будет сидеть так на табурете, нечленораздельно мычать, не есть, не пить, то отцу будет лучше, какая-то мистическая связь между собственными муками и облегчением участи отца прочно засела в его мозгу. Слуги постояли немного, пошептались встревоженно и ушли. А он продолжал сидеть совершенно один в комнате, просторной и широкой, среди которой стоял стол с трупом его отца.

Наступил вечер, а затем ночь, но он не спал, полагая, что от его бессонницы отцу будет лучше, и продолжал сидеть на табурете, сжав руками виски. Он закрыл глаза, ему надоело смотреть на пол, сначала он увидел зеленые, синие и другие разноцветные круги, кружившиеся в непонятном одурманивающем танце. Было тихо, лишь изредка скрипели двери соседских комнат. Наконец и эти звуки затихли. Он сильнее сдавил виски. Радужные круги в его мозгу стали преображаться: они превращались в обрывки тел, предметов, которые, как и круги, носились в беспорядочном и будто дразнящем его хороводе. Здесь были женские бедра, драхмы с совами, которые хлопали крыльями и пучили глаза, ветки деревьев, лица друзей, которые на мгновение выступали ясно и отчетливо, чтобы затем снова исчезнуть и слиться с другими.

Появились какие-то слова, мысли, некоторые он ловил и подводил поближе. Он чувствовал одно: нужно их упорядочить. Он рассматривал мысли с разных концов, пытался их склеить во что-то целое, но они были уродцами или без начала, или без конца, или без середины. Они подходили к нему покорно и потупив глаза. Он начинал сбивать их в кучу и связывать. Но как только он приступал к делу, они вдруг начинали смеяться, легко разрывали веревки и, образовав круг, начинали плясать вокруг него. А он стоял в центре, растопырив руки, и смотрел на все это глупыми глазами. Он не мог понять, почему он, такой умный и образованный, не может ничего сделать с этими мыслями, а что после того, как он их соединит в нечто цельное, мучения его прекратятся – это он чувствовал. И он, всматриваясь в обрывки мыслей и тел, пытался найти тот стержень, на который можно было нанизать все эти кружащиеся в хороводе предметы. Он всматривался, но не находил. «Ах, до чего же я ничтожный человек, – пронеслось у него в мозгу, – я не могу найти стержня. Любой мой знакомый, любой из тех компаний тут же нашел бы идею, на которую можно все нанизать, а я вот не могу, хотя думал, что сделаю это легко».

Тогда он осознал, что совершенно беспомощен, опустил руки и тем самым показал всем этим идеям, мыслям, этому пляшущему сброду, что признает свое полное поражение. Вещи поняли это и, вдруг вытянувшись, стали исчезать, растворяясь в воздухе. Он стал всматриваться в облики исчезающих вещей и увидел череп – белый, распиленный так, что всем было видно содержимое; черепная коробка не отваливалась совершенно и держалась на медных шарнирах, так что череп представлял из себя своеобразную коробку. Он вспомнил, где он его видел (а вспомнил потому, что даже сейчас каким-то холодным высшим чувством знал, что все, что он видит, не происходит на самом деле, а есть лишь горячечный бред). Череп он видел в своей ранней молодости, почти в детстве.

Его друг, хотя трудно говорить о дружбе между десятилетним мальчиком и зрелым мужчиной, имел врага. Враг был рабом. Воинственность не свойственна беглым рабам Афин. Но этот раб был фракийцем – свободолюбивым дикарем, не примирившимся с ярмом. Он был избит хозяином, избит унижительно и позорно. Его били голого среди толпы домочадцев, его окружали смеющиеся дети, девочки и мальчики. Он был привязан к столбу голый, совершенно голый. Он закусил губы, но не кричал, не стонал, когда ремень, рассекая воздух, оставлял красную полосу на его спине. Он рычал, глухо и утробно, как загнанный зверь, глаза его свирепо бегали, лицо было бледно. В этом дикаре вместе с сознанием собственного достоинства была и дьявольская хитрость. Он умел ждать. Когда его развязали, хохот был нестерпимым, комки грязи, которые в него кидали улюлюкающие дети, жгли его больней бичей. Но он умел ждать и опустил голову. Он притаился. Он вспомнил, как в горах Фракии сидел в густой листве уютно свитого гнезда с натянутым луком, ожидая легкого треска проходящего зверя. С посвистом слетала с тетивы стрела, вонзаясь в горло животному. И тогда он спрыгивал на землю, мазал лицо кровью и в радостном экстазе прыгал около поверженного соперника. И тут он решил ждать. Сначала ему не верили, заковали и сажали на ночь в подвал. Но он заслужил доверие – хозяин решил, что дух его сломлен. Он был большим умельцем, пел своим гортанным голосом прекрасные песни, в которых он изливал тоску по потерянной родине. Его слушали с интересом рассевшиеся в креслах господ. Никто не мог лучше него услужить за столом, разделать тушу зверя и разлить вино. Его таланты были отмечены, и он был

взят в дом. Он был обласкан господами, а та порка была давно забыта. Забыли все, но он не забыл.

И вот однажды ночью страшный крик разбудил дом. Вскочив с постели, голый хозяин сорвал со стены висевший над изголовьем меч. Он ничего не видел, было совершенно темно, он стоял голый, сжимая в руках рукоять меча, рядом стояла голая его жена с распущенными волосами, она не стыдилась сбежавшихся рабов, а только тихо ахала от какого-то жуткого предчувствия. Пока слуги рукой высекали искру и разжигали светильник, кто-то предположил, что в доме воры. Но это предположение было тут же отвергнуто. Если это воры, то почему не залаяли собаки? Наконец светильник зажгли, и люди вломились в соседнюю комнату.

Девочка-подросток лежала на постели, изнасилованная и зарезанная. Вся кровать была в крови, кровью было пропитано белье, казавшееся в пламени светильника бурно-черным. Лицо было искажено ужасом, глаза выкатились. Мать тут же упала в обморок. Отец побледнел, накинул одежду и бросился в комнату, где жили рабы. Дикаря не было. Были тут же разбужены стражники, закрыты ворота, но он уже ушел в горы, покрытые на месте вырубленных лесов непроходимым колючим кустарником, в котором, казалось, не могли жить звери, не то что люди.

На него была устроена настоящая охота, снарядили отряд. Но он уходил от всех. Им были захвачены в доме, где он знал все ходы и выходы, колчан, полный стрел, меч и кошель с деньгами, которыми, как выяснилось позже, он практически не пользовался. Он был меток, очень меток и редко какая стрела пролетала мимо цели. Солдаты, изнывая от жары и усталости, пробирались сквозь кустарник, шуршала трава и кусты – будто зверь пробегал, со свистом вылетала стрела, и окровавленный человек падал, корчась от боли или предсмертных судорог, на землю. Люди с криком кидались на то место, откуда, был произведен выстрел, но там уже было пусто – только примятая трава свидетельствовала, что несколько минут назад здесь кто-то был. Опытные охотники решили бы, что здесь была звериная лежка. Раб не только уходил от погони, но и сам переходил в наступление. С толпой приезжающих на рынок крестьян он появлялся в городе. И однажды с улицы господину принесли жену и мальчика-первенца – они были убиты из его лука двумя подряд выпущенными стрелами. Тут же оцепили квартал, закрыли городские ворота. Но фразкиец ушел, протек сквозь руки, как вода.

Господин поклялся умереть, но убить ненавистного раба. Снова собирает он приятелей, друзей, родичей своих и жены. Снова выходит на охоту и снова безрезультатно, если не считать результатом стрелу, чуть его не погубившую – его спас панцирь, отличный панцирь, подарок деда, сработанный из блестящей халхидской меди и бронзы. И тут кто-то предложил использовать псов. Идея была одобрена. Он скупает огромных лохматых молосских чудовищ, которые стерегут овец у пастухов, и обучает их травить человека.

Как только собаки были научены, их перевезли в горы. Свора рассыпается веером и с лаем устремляется в чашу. Собачий лай то слышится на вершине холмов, то затихает в лощинах и распадках. Вдруг охотники слышат свирепое рычание, а затем жалобный собачий визг. Собаки, спасая товарок, ищут, опережают людей. Слышится утробное рычание зверей, треск ломающихся веток и шум борьбы. С копытами и обнаженными мечами подбегают люди. Они видят спутанный клубок собачьих тел.

Хозяева отзывают их, но они не слушаются и продолжают с яростным рычанием рвать своего врага. Наконец они отходят, и перед глазами охотников на измятой и окровавленной траве, среди изломанных веток и бьющихся в агонии собак с выпущенными волочащимися кишками лежит труп, весь истерзанный. Это был беглец.

Господин не выдержал – он вонзил несколько раз в труп копье и сказал, что справедливость наконец восторжествовала. Он попросил топор и отрубил обезображенную голову. Кто-то попытался устыдить его, но сразу же умолк, так бешено посмотрел на него хозяин псов. Тут же он вытряхивает из черепа мозг с помощью щепки и отдает его на съедение собакам. Рабы морщатся от отвращения, свободные расходятся, а он подзывает рабов и требует, чтобы ему была нагрета вода. Рабы, не решаясь противиться, спускаются чуть ниже, туда, где журчит ручей и приносят воду, разводят костер. Когда вода закипает, их господин бросает голову в кипяток и вываривает ее. После того, как все эти операции были проделаны, он подымает череп над головой и говорит, обращаясь то к сдохнувшему псам, то к деревьям, то к испуганным рабам, стоящим поодаль, то к горам: «Вот голова того, кто убил мою семью». Затем он хохочет диким захлебывающимся смехом, садится на траву, прижимает к себе череп, как самую большую драгоценность и тупо смотрит на свою изорванную обувь. Рабы осторожно подходят к нему, опасаясь взрывов ярости. Но их нет. И господин спокоен. Его осторожно поднимают, помогают спуститься вниз с горы, сажают на телегу вместе с черепом, который он продолжают бережно прижимать к груди. Дома он впал в забытие и пробыл в нем несколько дней, но скоро поправился. Череп был превращен в плевательницу.

100

Всю эту историю рассказали Фемистоклу слуги и рабы. Так вот этот череп и явился ему снова. Он бел и чист, на нем лавровый венок. Вдруг он пропел юношеским звонким голосом: «Что-то пусто в чаше дно. Наливай мне, мальчик резвый. Только пьяное вино раствори водою трезвой. Мы не скифы. Не люблю, други, пьянствовать бесчинно».⁹ Череп засмеялся радостно и весело, а вокруг него снова закружились обрывки тел, лиц, вещей, которые танцевали веселый и радостный танец. Затем череп исчез, и он увидел старуху слепую. Она подошла к нему и стала водить пальцами по его лицу. Это было щекотно и неприятно. Он дернул головой, старуха сразу пропала, и он услышал жужжание. Он открыл глаза – эта была муха, большая трупная муха, которая с надсадным гудением летала по комнате, дребезжа своими прозрачными крыльями. Было душно, и сладковатый запах уже начинал чувствоваться. Он захотел заснуть, но сон не приходил. Как только он закрывал глаза, сразу же появлялись беспорядочно мечущиеся, словно пылинки в воздухе, образы. Все они говорили на разных языках, пищали, смеялись, кривлялись и не давались ему в руки. Только череп стоял поодаль, он пил вино, читал стихи и звонким, бодрым юношеским голосом предлагал это привести в порядок. Наконец от гула и шума все слилось в колеблющийся и зыбкий круг, растаяло в воздухе. Он оказался в Аиде: то он был Одиссеем, бродящим среди душ мертвых, то был сам мертвым, бродящим среди живых, то плыл через Стикс на лодке, лодку качало, она готова была перевернуться. Затем и это пропало, и он полетел в черную густую тьму.

Ночь он проспал без сновидений, и вчерашнего бреда совершенно не помнил. Сон всегда хорошо действовал на него, и только стол с телом, жужжание мух и сладковатый запах дали знать, что радоваться нечему. Слуги принесли поесть кусок

вареной рыбы и немного овощей. Он отложил кусочек рыбы и как бы нехотя съел. Но рыба раздражила его аппетит, и он почувствовал, что ужасно голоден, и съел все с жадностью. Он попросил бы еще, но ему было совестно. Рабы стали убирать по древним обычаям труп. Рабыни принесли воду в тазах и обмыли тело, натерли его благовонным маслом, одели в тонкое и самое лучшее платье. Он смотрел, как одевали труп, как его переворачивали и подымали. Женщины оживленно беседовали и согласовывали движения. На лицо отца положили маску. Вокруг поставили сосуды с благовониями, чтобы заглушить запах. На голову одели венок из листьев.

К вечеру стали прибывать родственники. Они входили с масками скорби на лицах, причитали, плакали, как требовал обычай, справлялись о самочувствии Фемистокла, утешали его привычными штампами, просили мужаться. Он отвечал им так же стандартно и однозначно, они подходили к трупу, всплескивали руками, смахивали искусственные или натуральные слезы и выходили из комнаты, смачивая руки водой, так как место, где находился покойник, считалось оскверненным. В другой комнате происходил поминальный ужин. Весь этот ритуал происходил без его участия. Он был здесь марионеткой. И он не обижался.

(Окончание следует.)



Похоронная процессия (Древняя Греция).

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

Tuntematon tekijä

Тайны горы Импиваара

В романе классика финской литературы Алексиса Киви «Семеро братьев» (1870) огромную роль играют предания и легенды. Они образуют своего рода фон, подсвечивающий причудливым светом реалистический сюжет. Самым ярким из этих преданий является, несомненно, предание о Бледнолицей деве, которое Аапо рассказывает своим братьям. Здесь необходимо сказать несколько слов о сюжете романа Киви.

Повествование строится вокруг семерых братьев Юкола, которые в какой-то момент вследствие различных неурядиц решают порвать с сельской общиной и переселиться на пустынную гору Импиваара. Совершив этот нетривиальный шаг, братья обрекают себя на суровую подвижническую жизнь на лоне дикой природы, полную опасных приключений и изнурительного труда. Постепенно мировоззрение братьев начинает меняться в сторону притяжения покинутого ими мира людей, и они в конце концов торжественно возвращаются в свою опрометчиво оставленную усадьбу. Со временем они превращаются в добропорядочных сельских буржуа и обретают устойчивое положение в отвергаемом когда-то социуме.

Теперь возвращаемся к преданию о Бледнолицей деве. Это предание, как было сказано выше, излагает своим братьям Аапо. Происходит это во время их первой после переселения на гору Импиваара ночевки. Братья смутно помнят предание, связанное с названием горы (Импиваара с финского — «гора девы»), и просят обладающего хорошей памятью Аапо напомнить его. Сказочная история похищения злым гномом, жившим когда-то на этой горе, несчастной девушки, преступившей клятву, вызывает у них безусловное доверие. Почему? Сознание братьев в это время еще глубоко архаично, представления о мире причудливы и фантазмагоричны (чему в немалой степени способствует их неграмотность), хотя власть довлеющих над ними архаических предрассудков уже не столь велика, как у предков.

Рассказанное Аапо предание имеет своим следствием комическую сценку, когда братья, уверенные, что злополучный одноглазый гном «и ныне жив», швыряют пылающие головы в свою одноглазую лошадь Валко, приняв ее в темноте за посетившего их гнома.

Вводя это и подобные ему предания в ткань романа, Киви, как представляется, имел в виду решение, как минимум, двух задач: во-первых, как писатель-реалист он беспощадно боролся с предшествующей романтической традицией, высмеивая ее приемы и клише, разоблачая «чудеса» и т.д., а во-вторых, – и это более серьезно – как верный сын просвещенного XIX века он считал важным показать на примере братьев эволюцию сознания современников, процесс его постепенной рационализации и демифологизации. Эти изменения сознания Киви напрямую связывал с ходом буржуазных реформ, преформирующих финское общество.

Да, братьев можно назвать победителями. Они выдержали выпавшие на их долю испытания, не сломались от невзгод, побороли искушения. Они смогли отвоевать место под солнцем, смогли обжить и обустроить клочок суровой первозданной земли у подножия горы Импиваара. И автор, несомненно, любитесь трудолюбивыми и благодетельными героями-удальцами, «расколдовавшими» древний зачарованный мир, но неожиданно на последних страницах в повествование вплетается тихая грусть. Это грусть по ушедшему навсегда под натиском цивилизации и прогресса прежнему патриархальному укладу, по той жизни, где есть место тайне, где возможна вера в живущего в горных пещерах гнома. По сути, эта тоска по той исчезнувшей поэзии жизни, с которой Киви так усердно боролся на протяжении многих страниц своего великого романа.

И в заключении несколько слов о предлагаемом вниманию читателей поэтическом переложении предания о Бледнолицей девице. Во-первых, – это сразу бросается в глаза – оно выполнено довольно близко к тексту. Во-вторых, следует поискать ответ на вопрос: чем оно может быть интересно современному читателю? Едва ли своими поэтическими достоинствами – непрофессионализм автора все же слишком заметен. Интересно оно, прежде всего, как часть истории души человека, ставшего эмигрантом. Автор этого переложения женщина, которая, в силу неизвестных нам обстоятельств, попала из России в Финляндию в первой половине XX века. В течение нескольких лет она вела своего рода поэтический дневник, и то небольшое, что на сегодня известно о ней, известно только из этого дневника. Она, насколько можно судить, была не слишком счастлива в чужой стране, глубоко одинока. И нельзя исключать, что в судьбе Бледнолицей девы, обреченной жить многие годы в разлуке с любимым в чужом краю, она увидела намек на свою судьбу. Во всяком случае, не оставляет ощущение, что тема и образы старинного предания, почерпнутого ею из романа Алексиса Киви, легли на подготовленную почву.

Алексей Ланцов

Akseli Gallen-Kallela: "Jukolan talot", 1907.



*Переложено на стихи с финского¹⁰ предания Алексея Киви,
из «Рассказа о семи братьях», 1936.*

Тихая, светлая летняя ночь,
Двое влюбленных в зеленой осеке...
Завтра разлука. Уедет он прочь,
Но расстанутся они не навеки.
Юноша деву в объятьях держал,
В очи лучистые взор погружая,
Ласково, тихо любимой шептал:
«Милая, твой я теперь, уезжая.
Но не взойдет еще солнце сто крат
И не успеет ста крат закатиться,
Как я твоим же приеду назад,
И буду счастлив, любя, возвратиться».

Молвила дева: «Смотри на закат,
Помни: как солнце любовно лобзает
Землю в минуту прощанья, – сто крат
Сердце нежнее тебя призывает.
И как прекрасно пылает заря
Утром лучистой улыбкой свиданья, –
Ярче глаза засияют, горя
Счастьем любви после слез ожидания», –

Так она шепчет, но юноша ей,
Грустным предчувствием объят,
отвечает:

«Дивной внимаю я речи твоей,
Но отчего мое сердце страдает,
Словно предчувствует горе и зло...
Милая, слушай. Давай поклянемся
В верности вечной друг другу. Светло
Звездное небо, – пред ним обоймемся».

И поклялись они клятвой святой
Пред лицом Бога, пред небом
безмолвным.

И, затаивши дыханье, седой
Бор внял обетам их, вечности полным...

А на рассвете они обнялись
Крепко в последний разок и разстались...
Пыли столбы по дороге взвились,
За отъезжающим в поле умчались...



*Marc Fishman:
"La Belle Dame Sans Merci by".*

А по опушке лесной вся в слезах,
Ночь вспоминаячи, девушка бродит.
Образ любимый лелея в мечтах,
В бор незаметно все дальше заходит...

А как в дремучий зашла она бор, –
Странную тень различает вдруг взор,
Юношу видит она пред собой:
Княжествен взор, благородна осанка,
Лик — словно утренний луч золотой.
Очи потупив, бледнеет крестьянка...
Дивится блеску наряда: перо
Шапки его ярким пламенем вьется,
Затканый пестрым узором хитро,
Бархат кафтана лазурью смеется.
А под кафтаном нательник одет,¹¹
Шелком простеган и снега белее,
Кисти сияют хвостами комет,
В пурпуре пояса, крови краснее...
А как взглянул он на деву, – обжег
Пламенем страсти он юную душу,
Вкрадчивый голос ей ядом потек:
«Мир твой, красавица, я не нарушу,
Полно, не бойся. Тебя одарю
Я безграничным, несказанным счастьем,
Видишь, любовью безумной горю,
Сердце опутал совсем сладострастьем...
Я и могуч, и богат: нет числа
Грудам камней у меня драгоценных.
Что ни спроси: короля ли, жезла,
Платьев цветных ли царевен
надменных, –
Все для тебя я могу обрести.
Только, красавица, следуй за мною.
В чудный позволь тебя замок ввести
И на престол посадить госпожою».
Так он чарующим голосом ей

В томное сердце нашептывал нежно...
Внемлет и дивится дева; очей
Не отвести. Сердце бьется мятежно.
Вспомнила клятву недавнюю вдруг
И, содрогаясь вся, отшатнулась.
Все же чарует таинственный друг,
Снова, внимая, к нему повернулась.
Властно и страстно так тянет к нему.
Как от лучей заслонила руками,
Дева, зардевшись... но страсти волну
Все ж и с закрытыми чует глазами.
То отвернется, то вновь охмелев,
Взглянет на образ и внемлет признанью,
В сердце слабеет невнятный напев
Образ родной отошел в подсознание...
Вдруг помутилось сознание на миг,
Пал на глаза словно мрак перевязи,
К ней соблазнитель прекрасный
 приник, —
Дева упала в объятия князя.
С жертвой в объятиях могучих своих
Князь молодой буйным вихрем
 помчался,
Точно в бреду на руках тех стальных
К молодцу девичий стан прижимался.
Мчались они по утесам крутым,
Через глубокие реки, ложбины,
Лес все темнее, суров, нелюдим,
Сосны и ели седы от кручины.
Девичье сердце в тоске замерло,
Страхом оно непонятым забилося,
Каплями пота покрылось чело, —
Или сознание ее пробудилось? —
Ей вдруг почудилось в блеске очей
Княжеских страшное, хищное что-то...
А оглянулась: темнее ночей
Черное видит за лесом болото...
Мрачные ели столпились вокруг,

Бедная в князя лицо заглянула, —
Ужаса боль сотрясла ее вдруг,
Буря отчаянья мглой захлестнула...

Видит: кругом понасупился бор,
Вырос пред ними утес крутосклонный,
Ели глядят, как безмолвный укор,
Мрачен гранит, словно рок
 непреклонный...

Вот показались пасти пещер,
Вот рубежи роковые злодея, —
Чудо свершилось: ужасен и сер,
Княжеский лик исказился, зверея.
Снизился лоб, проступили рога,
На загребке зашуршала щетина,
В козье копыто обулась нога,
Хищная рот исказила морщина.
В девичью грудь злые когти впились.
Тщетно бедняжка и стонет, и бьется,
Держит добычу жестокая рысь,
Чуя, что скоро уж крови напьется.
Дико рыча, хищник злой приволок
Девушку бедную в глубь логовища,
Брызнула кровь, словно ягодный сок,
И задымилась обильная пища...
Жадно, до капли последней, всю кровь
Высосал хищник из жертвы несчастной.
Чудо. Шевелится девушка вновь,
Дышит какою-то волею властной...
Жизнь в обезкровленном теле ея
Теплится неугасимой лампадой.
Как привиденье легка и бела,
Веет она замогильной прохладой.
Дивится леший напасти такой,
Рвет и когтями ее, и зубами, —
Не умертвить ему девы молодой,
К жизни прикованной, видно, чарами.

И, наконец, он решил схоронить
Бледную деву во мгле подземелья.
Пусть ему станет покорно служить,



Akseli Gallen-Kallela:
"Luonnos Rukoilevaan impeen", (1907).

Пусть вместо сна гробового безделья
Станет сокровища ночи хранить.
Станет камней драгоценные груды
То отбирать, то ему подносить,
Чистить металлов таинственных руды...
Любо ему и холить, и копить,
Не насмотрится на блеск их холодный, —
Пусть же останется пленницей жить
Бледная дева с тоской безысходной...

Годы проходят... Живет да живет
Дева безкровная, бледная дева.
Днем безотказную службу несет, —

Тяжка ей кара небесного гнева...
А по ночам молчаливая тень
Девушки бедной видна на утесе...
Слезы росы омывают ступень,
Стон тихий слышится ниже, во плесе.
Что-то кругом той пещеры седой
Охает все по ночам и рыдает,
Словно природа вся ночью глухой
С пленницей бедною тяжело страдает...
Молится дева всю ночь напролет.
Кто дал ей право уйти из пещеры?
Небо-ль послабило тягостный гнет,
Веря призыву безропотной веры?
Только все ночи и в бури, и в мглу,
И в безнадежно дождливые ночи,
И при морозе, зимой, на скалу
Дева восходит... Потухшие очи,
Молча ступая, бледна и нема,
Голову грустно на грудь опустила.
Как изваянья в мольбе замерла,
Руки безкровные на-крест сложила...
К темному небу и к звездам немым
Очи ни разу поднять не дерзнула.
Там, за опушкою леса, где дым
Вьется людских поселений, где гула
Колоколов чуть доносится стон,
Где очертанья креста чуть чернеют, —
Церковь стоит... Там отчизна, там он,
Там ея думы, как ласточки, реют...
И оттого ея взор устремлен
Только туда, к недоступному югу.
Ждет ли чего-то? Упорен, силен
Зов возвращенья к далекому другу...
Ибо таинственный голос в душе
Шепчет ей, бедной, слова утешенья,
Искоркой дальней надежда уже
Вспыхнет подчас ей зарею прощенья...

Так она ночь простоит напролет,
Бледною тенью над темной скалою.
Но никогда ея грудь не вздохнет,
Не разомкнуться уста хоть мольбою.
Молча и грустно во мраке стоит...
Ночи часы безотрадные льются...
А на рассвете в пещеру велит
Леший безжалостный деве вернуться.

Солнце земле улыбнуться сто крат
Алой зарею еще не успело,
Как уже юноша скачет назад,
Весел любовью и веруя смело
В светлую радость свидания с ней.
Но не спешит ему дева навстречу,
Нет его милой нигде. И вестей
Не посылает... Пытает он речи
Чуждых людей, всюду ходит, зовет,
Ищет любимую, ждет и тоскует
Целые ночи и дни напролет.
Сердце потерю ужасную чувствует...
Дева исчезла безследно, как сон,
Как исчезают росинки с разсветом...
Бросил надежду последнюю он
И распрощался с весельем и светом.
Жизнь пробродил он с тех пор, как во сне,
Времени тенью немой, безучастной,
И наконец его взор, по весне,
Смерть осенила печатью прекрасной...

Но вереницей безчисленных лет
Тянется жизнь обезкровленной девы.
Нет ей прощенья и отдыха нет...
Жуткого бора глухие напевы
Грустно баюкают пленницы дни,
Скалы таят ея тайну немую...
Только болотные ночи огни

Изредка глянут на душу больную.
Днем она в темной пещере сидит,
Ценные камни сокровищ несметных
Перед мучителем алчным хранит,
Чахнет в страданиях своих
безответных...

Ночью же темной на гребень скалы
Бледною тенью немою восходит,
Не подымает она головы,
Сложенных рук от груди не отводит.
К дальнему небу и к звездам родным
Очи ни разу поднять не дерзнула.
Там, за опушкою леса, где дым
Вьется людских поселений, где гула
Колоколов чуть доносится стон,
Где очертанья креста чуть чернеют, -
Церковь стоит... Там отчизна, там он,
Там ея думы, как ласточки, реют...
В сторону церкви глаза устремив,
Бледная дева стоит изваяньем,
Молча, без вздоха, без жалоб застыв...
Боли не выльет горячим рыданьем...

Снова на севере белая ночь...
Чутко задумавшись, дремлет природа,
Тени, не в силах лучей превозмочь,
Тают прозрачно до солнца восхода...
Снова на гребне гранитной горы
Бледная дева стоит неподвижно...
Годы считает с той дальней поры
Юности светлой на лоне отчизны.
Вспомнила бедная: в душном плену
Страшным кошмаром сто лет
протянулось
С дня, как рассталась в весеннем лесу
С другом любимым... Она ужаснулась.
Мысли смешались, с поникшего лба
Капли холодные пота скатились

Тихо на мшистые камни... Мольба
Рвется из сердца... Уста приоткрылись...
В первый тогда она раз, осмелев,
К небу высокому взор обратила.
Чудо. Глаза ея, словно прозрев,
Видят: вдруг вспыхнуло пламя светила,
И покатилося падучей звездой
Деве навстречу золотое сиянье.
Весь просветленный, жених молодой
Вырос внезапно во звездном мерцании.
Все приближается образ родной,
Дивно знакомый, прекрасный
и светлый...
Счастье нахлынуло мощной волной,
Сердце забилося вдруг дрожью
ответной, —
Милаго друга узнало оно.
Но отчего меч, как пламя излучный,
Держит в руке он?

«Что ж, так суждено», —

Шепчет страдальца речью беззвучной:
«Витязь, пронзи мое сердце мечем,
Даруй желанное успокоенье
Смерти лобзание мне нипочем,
Долго я жаждала освобожденья,
Вот моя грудь!»

На суровой скале

Молит так дева в минуту свиданья,
Но на излучно-спокойном челе
Витязя горечи нет порицанья.¹²
Нет! Он не смерть ей принес наконец,
А просветленную жизнь и прощенье,
Трепетной радости звездный венец.
Как светлым утром шуршит дуновенье
Вешняго шума, так голос любви
Слуха коснулся... Жених наклонился

К грешнице... обнял... горячей крови
Мощный поток в сердце ей заструился.
И поцелуем любви он вдохнул
Новую жизнь ей в застывшее тело,
Молодость, радость, свободу вернул,
В очи ей глянул глубоко и смело.
Щеки зарделись, как алой зарей
Тучки румянятся, солнце встречая,
Стерся с чела ея след роковой
Долгой печали... И радостно тая
Спал с ея сердца мучительный лед;
Встретились очи ея с небесами, —
Вылился в вздохе весь тягостный гнет
Слез, накопившихся в сердце годами.
Тихо склонилась ему на плечо,
Вспыхнул вдруг луч из сияющей дали.
Чудное утро стояло кругом,
Утренний ветер пронесся по лесу,
Птицы, чирикнув, разстались со сном,
Тени исчезли, скользнув по утесу.
Было то утро подобно опять
Дальнему утру последней их встречи,
И в их душе сквозь молчания гладь
Вновь зазвучали забытые речи...

Вдруг из-за выступа темной скалы,
Леший крадется опять за девицей,
Злое чудовище страсти и мглы
Когти вонзило бы хищною птицей
В жертву свою. Только витязя меч
Быстрый как молния, в сердце вонзился.
Черными каплями кровь стала течь,
Медленно мшистый утес обагрился...
Эхо промчало по ближним горам
Страшный, предсмертный рев
чудища злого,
Корчась дико, скатился он сам

¹² Другой вариант: Витязя нет рокового каранья.

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

Вниз, по уступам утеса крутого.
Освобожден от него мир людской
В час торжества доброты и прощенья.
Девушка, тихо склоняясь головой
К милому другу на грудь, в те мгновенья
Вновь стала чистой и цельной душой...
Брызнули солнца лучи золотые,
И увлеченные света волной,
Словно им выросли крылья большие, —

Стали вздыматься они плавно в высь,
К солнцу навстречу, навстречу лазури,
В дымку прозрачную скоро слились...
Следом последним промчавшейся бури
Пала на дальнюю землю роса;
Горы, долины от сна пробудились,
Птиц зазвенели в лесу голоса, —
В небе растаяв, влюбленные скрылись.



Hugo Simberg: "Mensin saari", 1906.



Людмила Яковлева
Ludmila Jakovleva

Тетрадь с блошиного рынка

*Земля заветных слов любви,
где родилась мечта,
Где в звездном излучении
нетленна красота...
Услышишь ли, когда-нибудь,
ты зов печальный мой?*

Врач, кандидат медицинских наук. Работала в Ленинграде научным сотрудником в одном из ведущих медицинских НИИ, автор более сотни научных статей и книг. В 1991 году переехала в Хельсинки. В настоящее время является секретарем Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Рассказы и переводы публиковались в журналах «Иные берега *Vieraat rannat*», «Родная Ладога», альманахе «Царицынские подмостки», малотиражной газете «*Yhdessä*». Автор книг «Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим» (2008), «Записки дамы элегантного возраста» (2009), «Моих странствий ветер...» (2010), «Три цвета времени. Дороги, которые нас выбирают» (2013), «Судьбы моей калейдоскоп» (2014), «Ветер странствий» (2016).

Началась эта история весьма обыкновенно. Неподалеку от нашего дома стоял бесконечно длинный ангар, который арендовала семья предпринимателей, организовавшая там продажу старой мебели. Попросту говоря, блошиный рынок. В центре продавали мебель, а по периферии ангара расставлены столы и шкафы с посудой, книгами, стеллажи с одеждой. Это места работы торговцев старым товаром.

Среди всех продавцов выделялся совершенно седой, высокий и очень подвижный старик, торговавший книгами, которых у него было огромное множество и все они были разложены безо всякого порядка и системы. Меня всегда удивляло, как он в них разбирается и что находит, а может быть, ничего и не находит – покупателей у него почти не было. Звали его Йорма Толванен. Тогда ему было восемьдесят два года, и каждый раз при встрече он с гордостью сообщал, что является участником трех войн – зимней, войны-продолжения¹³ и лапландской. По красным датам, а в Финляндии

¹³ Войной-продолжением (*jatkosota*) финны называют свое участие во Второй мировой войне, направленное против СССР.

есть и таковые, его приглашали на различные мероприятия, он важно восседал в президиуме. У него русские корни, его дед и отец владели в дореволюционном Петербурге обувной фабрикой и магазином, которые были расположены на Старо-Невском проспекте, где он и жил с ними. Йорма был знаком с финской и российской историей, и мы частенько обсуждали с ним политические события и в Финляндии, и в России.

Как-то, в ноябре 2003 года я заглянула к нему. Мы начали обычную беседу о финско-русской политике, вдруг он неожиданно прервался, попросил немного подождать и быстрыми шагами направился к своему старенькому микроавтобусу. Вернулся он с толстой тетрадкой в потертом бумажном переплете. Открываю и вижу, что это рукописный дневник в стихах, неизвестного автора, написанный по-русски. Йорма рассказал, что летом его знакомый из Ювяскюля купил дом, а три ящика книг, хранившихся там, по дешевке продал ему. Книги были финские, но среди них оказалась и эта таинственная тетрадка. Рассеянно полистав ее, я сразу же поняла, что стихи женские. Внутри обнаружила еще три листа папиросной бумаги. Это был отпечатанный на пишущей машинке стихотворный перевод легенды о Бледной Деве, рассказанной Алексисом Киви в книге «Семь братьев».

«Зачем мне это? – подумала я. – Я только что закончила биографию поэта-акмеиста Вадима Гарднера и даже сейчас не уверена, нужно ли она кому-нибудь. А тут – новая стихотворная история. Нет, мне это ни к чему!» Но уже при беглом просмотре я поняла, что стихи хорошие, их автор – женщина образованная, обладавшая богатым словарным запасом, знающая не только с русской, но и с финской культурой.

Я вежливо сказала Йорме, что это, несомненно, раритет, и вернула ему тетрадь. Но по дороге домой и потом долго не могла отмахнуться от стихов таинственной поэтессы и ее судьбы, неизвестной мне. Эта чужая женская история взволновала меня, я выпросила у Йормы тетрадку. И вот сижу перед своим компьютером, с помощью лупы разбираю стихи и узнаю незнакомую мне, далекую и, по-видимому, уже закончившуюся жизнь. В дневнике сто четыре стихотворения и одна поэма. Два стихотворения датированы 1918 годом, одно – 1927 годом, девять – 1933 годом, девять – 1934 годом, семь – 1935 годом, три – 1936 годом, одно – 1943 годом и семьдесят – 1944 годом. Совершенно очевидно, что дневник писался не все это, обозначенное датами, время, а в последние годы.

Дневник имеет адресат: «Посвящаю моему Георгию». Итак, история моей незнакомки, история ее любви, описанная в стихах. Имя. Имени нет, она нигде не дает никаких упоминаний, никаких намеков, позволяющих определить ее имя. Только несколько раз она называет себя Геммой, звездой второй величины в созвездии Большой Медведицы. Родилась Гемма, как я поняла, в начале прошлого века на Кубани, в городе Армавире.

И вот – первая любовь, полудетская, восторженная, чистая, которой она посвящает несколько стихотворений. Потом длительный перерыв: прошло почти десять лет. Следующее стихотворение написано в 1927 году, читатель из него узнает, что наша героиня бросила свою любовь, свои наивные мечты, уехала «на север», в Финляндию и вышла замуж без любви. В отличие от многих эмигрантов, она не страдала от бедности. В ее стихах нет упоминаний о пособиях для эмигрантов, о лечении у докторов в долг, как, например, в стихах Вадима Гарднера. Но наша героиня была очень одинока, а потому погружена в мир своих внутренних переживаний; из дальнейших стихов

понятно, что она потеряла равновесие между миром действительным и воображаемым. Читая дневник видишь, что все это время буря самых разнообразных и противоположных чувств борется в ее душе и выплескивается на его страницы.

Тема предательства в любви все время возникает в ее стихах. Так, в еще мирном, 1936 году, она пишет поэму «Сказание о Бледной деве», которая является стихотворным переводом отрывка из книги Алексиса Киви. Потом началась русско-финская война, в это время одиночество героини дневника стало невыносимым, она полностью погружается в себя: *«Днем встречая жизнь-обман, По ночам рыдая...»* Люди, жившие в Финляндии во время войны, рассказывают, что антирусские настроения в этот период были весьма сильны.

Неудивительно! Одиночество множило ее страдания. *«Метет, метет метелица и дышит мне в лицо; Теснее одиночества отрадное кольцо»*. Прежде всего, ее мучило чувство вины перед страдающей родиной, которую она покинула. Затем чувство вины перед возлюбленным, с которым она легкомысленно рассталась, предав свою любовь. Чувство вины перед мужем, который любит ее, а она не может ответить взаимностью. Гемма винит себя за то, что сыновья отдалились от нее, что они не знают ее родины, что она не научила их любви к ней. Разумеется, она, как и всякая мать, любит своих детей, но стена непонимания разделяет их. Зачала их она не в любви и воспитывала половинчатой душой.

На дворе стоит 1944 год, 19 сентября подписывается мирный договор между СССР и Финляндией. По требованию Советского Союза тысячи людей, чаще всего не по своей воле, возвращаются в СССР на прежние места проживания.

Читая стихи, чувствуя высокий накал страстей и внутренних переживаний нашей героини, иногда кажется, что Гемма, действительно, собралась уезжать в Советский Союз, что она уже побывала в комиссии по репатриации и подала туда соответствующие документы. Но потом перед ее взором встают ни в чем неповинные дети, и она меняет планы. *«Я детей люблю, — Их в час опасности нельзя оставить!»*

И тогда я поняла, что тетрадь, которая лежала у меня на столе, никогда никтоне читал. Бессонными ночами Гемма записывала в нее свои страдания. Она прятала ее от близких, так как не хотела огорчать их, она никогда не смогла показать ее тому, кому были адресованы стихи. Сейчас бы сказали, что все было написано ею «в стол». Но истерзанные страданием души рожают прекрасные стихи. Последнее стихотворение в «Дневнике» носит название «Послесловие», в нем наша героиня прощалась со своими мечтами.

Никогда... Это прощание. И конец дневника. Что стало с Геммой? Кто теперь скажет! Ее уже давно нет среди нас.

Подробнее история жизни автора таинственного дневника была описана мною и опубликована в 2007 году, в пятом номере журнала «Иные берега Vieraat rannat» под названием «Никогда, или Тетрадь с блошиного рынка».



Константин Сомов: «Дамы в голубом».

ПЕРЕВОДЫ

Venäjännöksiä



Поэт, прозаик, переводчик русской литературы. Родилась в Финляндии в маленьком городе Китэ. В 2000-м году окончила гуманитарный факультет университета города Ювяскюля. Пишет стихи по-фински и прозу на русском и финском языках. Проза печаталась в журналах «Звезда» и "LiteraruS", стихи в журналах «Карелия», «Интерпоэзия», «Северная Аврора». Автор стихотворных сборников "Takatalvi" (2008) и "Maailman sivi" (2015), книги прозы на русском языке «Мелочь, но приятно» (2008), двуязычной книги стихов "Kynttilän päivä" – «День свечи» (2010), написанного в соавторстве с А. Банициковой сборника «Утренние рассказы» (2012). Учредитель издательства «Юолукка». Живет в Финляндии и Санкт-Петербурге.

Päivi Nenonen
Пяйви Ненонен

Tryptiikki

I.

Puistoon saapui vieretysten pieni ja suuri lapsi:
Pieni lapsi kultahapsi ja suuri hopeahapsi.

Kaunis oli kumpainenkin niin kuin niityllä kukka:
Pikku tyttö kultatukka ja mummo hopeatukka.

Kumpainenkin vuorotellen karkkipussista napsi:
Pieni lapsi kultahapsi ja vanhus hopeahapsi.

Kun he lähti loistamasta, varjoon jäi puistorukka:
Missä tyttö kultatukka ja mummo hopeatukka?

II.

Äkkiä päästin irti ja annoin mennä:
Lennä, kohtalo, lennä, kohtalo, lennä!

Kiertyi pois, mikä eessäni ennen hohti.
Syöksy, kohtalo, kohti, kohtalo, kohti!

Menköön yhtälö väärin, en piittaa siitä.
Kiidä, kohtalo, kiidä, kohtalo, kiidä!

Sinne vie, missä ei ole koskaan käyty:
Täyty, kohtalo, täyty, kohtalo, täyty...

III.

Siinä, mihin metsä loppuu, siinä alkaa pelto,
Mutta, mihin tieto loppuu, siinä alkaa pelko.

Kun sä kuljet pelon laitaa, heilahtelee heinä.
Siinä, mihin laita loppuu, nousee vastaan seinä.

Siinä, mihin pelto loppuu, alkaa jälleen metsä.
Mitä tulee metsän jälkeen, ehkä tiedä et sä.

Rantaa seuraa vastaranta, vaikket sitä näe.
Mitä tulee säkeen jälkeen? Tulee toinen säe.

Torni

Lähti kuningas joukkoineen ratsastamaan.
Alkoi tömistä harju ja rinne.
Hänen joukkonsa osoitti uljuuttaan,
Ja hän valtasi voimalla uuden maan
Ja pystytti linnansa sinne.

Linna upea nous, monitorninen,
Kohos ylväänä taivasta kohti.
Oli kaunis ja suuri ja valkoinen,
Oli kullalla silattu kupolit sen
Ja se loisti ja säihkyi ja hohti.

Mutta torneista yks oli kummallinen:
Siihen ei ollut pääsyä mistään.
Ei ovea, porttia sisälle sen,
Ei rakoa mennä ees hiirien,
Vaikka etsittiin etsimistään.

Tämä myöhemmin vasta kai keksittiin,
Oli aluksi muutakin huolta.
Muita osia linnasta koristettiin,
Muita saleja, torneja kalustettiin,
Eikä huomattu tornia tuota.

Mutta kerran taas kuningas taistelemaan
Lähti joukkoineen vieraille maille.
Ja hän voiton ja saaliin toi tullessaan.
Linna valaistiin voittajaa juhlistamaan.
Silloin huomattiin, yksi jäi vaille,

Vaille valoa juhlaa ja kauneutta
Jäi yksi vain ainoa torni,
hon kukaan ei löytänyt portaita.
Ja se synkkänä osoitti taivasta
Kuin musta ja syyttävä sormi.

Silloin sanottiin: ”Sattunut varmaankin
Jokin virhe on rakentajilleen.
Torni voitaisiin rikkoa tietenkin,
Mutta ulkoa päin näin on paremmin”.
Ja niin torni sai jäädä silleen.

Sitten kerran taas kuningas matkoiltaan
Palas tappion näännyttämänä.
Oli väsyttä häntä jo odottamaan.
Oli pimeät ikkunat linnassaan.
Oli yksin hän hetkenä tänä.

Ja hän haavoittuneena ja murheessa
Oli väsynyt käymiinsä sotiin.
Silloin huomasi: oudossa tornissa
Palo valo, niin lämmin ja auvoisa
Kuin oottaen, kutsuen kotiin.

Silloin sanottiin: ”Harhoja varmaankin
Näit, kuningas, uupuneen tavoin.
Ehkä aurinko viimeisin kultaisin
Sätein tornin sai ikkunat liekkeihin”.
Vaan on kysymys tää yhä avoin.

Tuosta tornista, tummasta konsanaan
Moni kiertelee linnassa huhu.
Silti vaieten odottaa vuoroaan
Torni kummallinen, mutta aikanaan
Se puhuu, kun muut eivät puhu.

9.3.2015



По профессии юрист. Лауреат поэтических фестивалей «Сила ветра» (Киев) и «Зеленый Гранпри 2013» (Гродно). Дипломант Золотой ступени Первого (2013) и Третьего (2015) международного конкурса переводов финской поэзии «С Севера на Восток». Живет в Беларуси.

Максим Шеин
Maksim Shein

117

Триптих

I.

Внучка с бабушкой вприпрыжку показались на опушке:
Рядом с серебром старушки – золотые завитушки.

Окруженные цветами, как цветы, красивы сами –
Нити серебра плясали с золотыми волосами.

Леденцы грызут – как будто под ногой хрустят ракушки
У серебряной старушки и у золотца-девчушки.

Серебристой тучи перья, золотых лучей качели...
В старом парке только тени. Ах, куда вы улетели?

II.

Я полетела туда, где никто еще не был:
Вверх, судьба моя, вверх, судьба моя – в небо!

Бросила все, что когда-то считала я целью.
Вдаль, судьба, торопись, судьба – полетели!

Пусть уравнение жизни никак не сойдется –
Ввысь, судьба моя, мчись, судьба моя, к солнцу!

К новым открытиям двигаюсь с легкостью танца –
Смей, судьба, не скупись, судьба, исполняйся...

III.

Распахнет просторы поле за опушкой леса.
Знаешь – часто нас пугает то, что неизвестно.

Посмотри: трава танцует с ветром, как живая,
О глухую стену леса волны разбивая.

Вот деревья наступают грозным строем фронта,
Закрывая то, что будет ждать за горизонтом.

Вдаль плыви – и новый берег вырастет из моря.
Следом за стихотвореньем – жди другого вскоре.

Башня

Королевский отряд среди гор и долин
Проскакал, грохоча, как лавина.
И врагов смельчаки уничтожить смогли,
И монарх посреди покоренной земли
Потрясающий замок воздвигнул.

Неприступные башни стоят по углам
Подпирающей небо громады.
Там сверкает стена, высока и бела,
Там сияют огнем золотым купола,
Ослепляя мещанские взгляды.

Но в одну из тех башен, поверите ли,
Не имелось прохода, похоже.
Ни дверей, ни ворот, что в нее бы вели,
Ни лазейки, чтоб мышь проскользнула
в щели,
Не отыщешь, хоть вылезь из кожи.

Это не было поводом для суеты,
Не об этом прислуга радела.
Без числа было стен, чтоб развесить щиты,
Без числа обстановки для комнат пустых,
А до башни той не было дела.

Но однажды король ускакал на войну:
Он всегда был охочим до драки.
Победив и добычей наполнив казну,
Повелел, чтобы в свете весь замок тонул.
Только башня осталась во мраке.

Торжеством повсеместным не освещена
Одинокая башня – точнее,
Та, в которую входа никто не узнал.
Небеса пробивая, торчала она,
Обвиняющим пальцем чернея.

«Получился, наверно, – сказали тогда, –
У строителей промах досадный.
И ее бы снести по-хорошему, да.
Но снаружи не то, чтобы очень худа».
И решили: стоит, ну и ладно.

Из другого похода придя своего,
Был король поражением сломан.
Но навстречу монарху, – увы, – никого,
Ни окошка не светится в замке его;
Одинокое вздыхал о былом он.

Изувечен снаружи, подавлен внутри,
От сражений набита оскома.
Вдруг заметил: в таинственной башне, –
смотри! –

Так тепло и заманчиво пламя горит,
Как очаг, ожидающий дома.

Убеждали: «Источник огня не ищи,
Этот морок послала усталость.
Это башни, уже исчезавшей в ночи,
Заходящего солнца коснулись лучи».
Нераскрытой загадка осталась.

Как и прежде, та башня чернеет, подав
Пересудам недремлющим повод.
Свой черед ожидает – нема и горда,
О себе непременно заявит, когда
У других не найдется ни слова.

КРИТИКА И
ПУБЛИЦИСТИКА
Kritiikkiä ja lehtikirjoituksia



Ольга Пуссинен
Olga Pussinen

Первое поколение новой
страны: Молодая российская
проза.

*Часть первая. Топор или петля? —
Роман Файзуллин.*

Эта статья должна была начинаться совсем не так.

Черт, возьми, она должна была быть написана абсолютно иначе!..

Я задумала ее в начале этого года, когда в редакционную почту в течении нескольких месяцев, одна за другой, пришли три подборки рассказов: сначала от Романа Файзуллина, потом от Александра Пахомова, а затем от Николая Васильева. После прочтения прозы Васильева мой план сложился. «Напишу-ка статью о молодой российской прозе! — решила я. — Грех упускать такой материал, — все три автора в литературной иерархии стоят на ступен и неизвестности широкому читателю, все трое — талантливые провинциалы, еще не влившиеся и в столичные литературные тусовки; их прозаические тексты пока минимально входят

Писатель и ученый филолог, доктор философии («Функционально-ограниченный русский язык: контактные разновидности, вариативность языкового сознания и типы коммуникации», Хельсинкский университет, 2016), кандидат филологических наук («Концепция человека в творчестве Иво Андрича», СПбГУ, 1999). Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор поэтического сборника «Жизнь в двух частях» (2012), детских книг «Куйгорож» (2013) и «Сказки Ведявы» (2013). Литературные публикации: в журналах «Иные берега *Vieraat rannat*», «Нева», «Зинзивер», «Северная Аврора», «Молодая гвардия», в «Литературной газете», альманахе «Синь апельсина» (2012). С 2001 года живет в Хельсинки.

в поле критического зренья, но, тем не менее, они уже засветились в каких-то знаковых местах вроде Литинститута или семинара в Липках, отметились в лонг-листах и номинациях достаточно престижных премий, вроде астафьевской или «Илья»-премии. На их творчестве, в котором чувствуется «игра свежей крови» и молодых сил, я смогу спокойно, без истерики определить место и значение

меняющегося российского сознания и препарировать менталитет нового поколения тридцатилетних, выросших уже вне оглядки на величественные руины советской империи — даже пионерских галстуков поносить не успели. Решено. После защиты займусь. Сказано — сделано!»

Сделать я ничего не успела, потому что за три недели до защиты моей диссертации я прочла в социальных сетях известие о том, что Роман Файзуллин умер. Повесился после трехмесячного запоя, который на его странице в Википедии стыдливо обозначен как «депрессия с употреблением алкоголя». Страница о Ромane в Википедии появилась на свет моментально: я вообще поражаюсь, с какой скоростью подобные страницы возникают, — будто бы их авторы сидят с ноут-буками у одра умирающего деятеля и, занеся пальцы над клавиатурой, ждут его последнего вздоха, чтобы сообщить о нем миру. Через неделю вышла подборка стихов Романа в «Литературе». Аккаунт в Фейсбуке переполнился скорбными вздохами друзей и приятелей, глубокомысленно замечающих: «В чем-то он глубоко прав...» Ленту Вконтакте заботливые родственники почистили от всех пьяных, грубых и пошлых записей сына. Остались лишь фотографии: с них на гостей прекрасными, темными, мягкими глазами смотрит милый молодой человек, у которого все сложилось бы замечательно, не стань он наркоманом и алкоголиком, едва дотянувшим до тридцати, точной копией героев песен Игоря Растеряева:

Закопал народ его в весенний снег

И злобно подытожил;

«Эх, пропащий был он человек,

Никчемно прожил!»

О том, что этот писатель плохо кончит, я подумала, как только прочитала присланную им подборку прозы, из которой выбрала для публикации рассказы «Щенок», «Первый снег. Точка невозврата», «Две звезды» и «Моя могила — планета Земля». Это буквально была моя первая мысль: «Плохо кончит». Вторая: «Талантливый. Жалко». Подборку Р. Файзуллина можно было смело пометить ярлычком «голимая чернуха»: «тексты полны чудовищных событий, о которых рассказывается на языке буйного маргинала, и не могут быть показаны приличным людям». ¹⁴ После смерти Романа я прочла остальные его тексты, опубликованные в литературных журналах и выложенные на Прозе.ру, и поняла, что натуралистический, физиологический реализм, — та самая «чернуха», — «грубая встряска, прощупывание самых болезненных швов человеческой жизни», в принципе, являлся основной коммуникативной стратегией молодого прозаика, так и не ставшего зрелым писателем, оставившего после себя лишь десяток рассказов и две повести. Страницей в «Википедии» и почетным званием «русского писателя» без единой опубликованной книги он был награжден исключительно за акт (по-русски читай — грех-подвиг) самоубийства. У самоубийц свои преимущества: они кажутся живым умнее, талантливее, значительнее и решительнее, чем были при жизни. «Как об косяк висок, дыханье рассечется, // а в этой трещине бесцветная, без звезд // зияет бездна... Ляг, она с тобой сочтется, // она тебе под свой расчет подгонит рост». ¹⁵ Холодок бездны заморозил мои изначальные

¹⁴ Алексей Татаринов. «Современный роман: важные встречи с небытием» // «Вопросы литературы», 2013, № 6.

¹⁵ Наталья Горбаневская. «Последние стихи того века». — Москва, 2001.

задумки. Я решила разделить свой замысел на три самостоятельных статьи и первую из них посвящаю Роману Файзуллину — его жизнетворчеству.

Впечатления от России, в которой живут герои прозы Романа Файзуллина, самые скверные. Туристов туда лучше не приглашать. Неприглядность интерьеров, в которых происходит действие, действительно, отталкивает, как и мрачный эмоциональный настрой, уводящий в черную пустоту:

• *«У подъезда сидел Пашка. Я поздоровался и присел. Рядом с ним стояла на треть полная бутылка водки и полторушка минералки. Он предложил мне выпить. Я отказался.*

– Помнишь Еврея? – спросил он.

– Ну, да. Алкаш из тридцать девятой. У него цирроз же, по-моему?

– Да. Умер сегодня.

– От цирроза? – равнодушно просил я.

– Нет, голову ломом проломили. Вступился за честь своей алкашки — умер в реанимации. Даже в сознание не пришел.

– Как забавно, — констатировал я, — болел циррозом, а умер от пролома черепа.

– Да уж, забавно, — грустно улыбнулся Пашка и опрокинул стопарик, запиw минералкой». (МС);

• *«На кухне владелец квартиры, мужичишка седых волос и хилого тела, старательно посылал на хуй женицину раза в два моложе его и во столько же пьянее. Лет эдак сорок с небольшим, можно было дать этой бухой в доску разухабистой бабе. <...> Женица сняла сапоги... и держась за стены, медленно, едва волоча ноги, проследовала в зал. В зале она остановилась у дивана. Ее глаза были стеклянными. Зрачки двигались медленно. Она осмотрела ложе. И, громко рыгнув, улеглась всей тушей на лежанку, мгновенно провалившись в глубокий алкоголический сон». (ЧМ);*

• *«В зале трое мужчин зрелого возраста — Геннадий, Володя и Сергей распивали аптечный спирт, разбавленный водой один к одному. Из телевизора по каналу «Ля минор» звучал отвратный шансон.*

– Наливай, а то уйду! — крикнул я Геннадию. Он самый старший из них и работает по вахтам на севере. Когда приезжает, весь район пьет спирт и самогонку на его деньги. Володя нигде не работает. Сергей работает, где придется. Но чаще всего тоже нигде.

– Да не вопрос, — улыбнулся он желтыми зубами и налил мне стопарик. Я опрокинул и занюхал куском сухого хлеба. Зрение мое по-прежнему оставалось неважным. Глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Давление. <...> Я встал. Проводил Артема до двери. Закрыл. И вернулся в зал. Сергей с Володей по-прежнему говорили о личном. Сергей рассказывал Володе, что когда он был лет на десять моложе, то ебал покойную ныне самогонщицу Галю, отправившуюся своей же продукцией. Сергей сказал, что у него тоже с ней пару раз было, и они засмеялись. Геннадий попросился в туалет. Но на полпути споткнулся, упал ничком и уснул. Мы не стали его поднимать. Я взял дымящийся остаток сигареты из пепельницы и хорошошенечко затянулся до самого фильтра, почувствовав химический привкус на языке. Затем налил себе еще и выпил». (ММ);

• «Мне надо было уколотся, забрать с собой две дозы и побыстрее свалить оттуда. В квартире было дурно. Стоял сладковатый запах разложения. Повсюду валялись кучи из пустых пачек «Тетралгина» и обезглавленных спичек. Я зашел в дальнюю комнату, чтобы спокойно вмазаться. В кресле сидел человек. Голова его была запрокинута. Рот приоткрыт. Он никак не отреагировал на мое появление. Мне показалось это подозрительным. Я вышел из комнаты. Подошел к хозяину притона. Задал вопрос:

– Что с человеком, который сидит в кресле?

– Не знаю, – ответил он, – он уже как четыре дня туда зашел, так и не выходит.

– Еб твою мать! – подумал я. – Он же отъехал!» (Д);

• «Под ногами хрустнуло стекло. Я наступил на лампочку. Какой-то мудака положил ее на входе в подъезд. Света не было. Я на ощупь, трясущимися руками снял домофон. Положил в старый потрепанный походный рюкзак и пошел в следующий подъезд... Юра работал в доме напротив. Потом мы вывалили два рюкзака за гаражами. Разбили все это дело молотками. Вытащили медь. Сдали в пункт приема. Получили пятьсот двадцать рублей. Неприбыльное это дело – бомбить домофоны. И опасное. Можно запросто пизды получить, если кто-нибудь из жильцов поймает.

А можно и того хуже – схлопотать срок. Неоправданно, но выбора у нас нет». (Щ);

• «Я лежал на койке. Привязанный картежник умолял меня развязать его. Тогда я встал, оторвал кусок от его одеяла и засунул ему кляп в рот. Больше он не умолял. Копальщик, видимо, наконец-то зарыв воображаемые какашки, сладко уснул прямо под койкой. За решеткой окна сытал крупными хлопьями восхитительно-белый снег. На подоконнике сидел высохший желтый старикашка и в натуральную кушал собственное говно. Есть мне совсем не хотелось. И спать не хотелось. Хотелось бежать, но сил бежать не было». (ПС).

И тому подобное. Согласитесь, картины «желтого Петербурга» Достоевского: распивочные, в которых надрывается, изливая душу, потерявший место чиновник Мармеладов, его полунищее, голодное и оборванное семейство с большой истеричной женой, даже пьяная девочка на бульваре, которую преследует «жирный фронт», — выглядят на этом фоне как-то более жизнеутверждающе, как ни абсурдно это прозвучит. И «На дне» Горького куда уютнее, душевнее и одухотвореннее, что ли, — там громыкает столкновение идеологий и философий: романтическая мечта Сатина о гордом и свободном Человеке vs сострадательный гуманизм (утешительная ложь) Луки. В прозе Романа Файзуллина ни духовности, ни одухотворенности, ни гуманизма, ни гордости, — одно лишь убожество окружающей жизни, которое засасывает главного героя неотвратимо, как болото. Впрочем, что ж: убожество жизни — это тоже жизнь, и писатель в определенном смысле обязан передать, как, собственно говоря, общается «нормальный народ», не умничая и не красуясь друг перед другом. Не склонный к социальному анализу Файзуллин все же один раз, вспоминая о детстве, делает попытку анализа социального среза своих героев: «Это было глупое время. Школьная пора. Класс неудачников. Все в основном из неблагополучных семей. Не люблю вспоминать. Ее для меня как будто и не существует. Просто серый безликий кусок из раннего возраста. Неприметное начало одной маленькой жизни» (МС).

К своим героям Файзуллин абсолютно безжалостен, он не прикрывает их флером стремлений и раскаяний, поскольку они ни к чему не стремятся и ни в чем не раскаиваются. Герои Файзуллина — это люди, которые ведут праздный образ жизни и постоянно пьют: Леха — бывший зек, «из тех, кого по пьяни может заклить, и тогда может наступить пиздец. У него в голове постоянная готовность к атаке» (ЧМ); Радик — местный алкоголик, «человек не плохой и не хороший. Но я слышал, что тот, кто не делает зла, но и не делает ничего хорошего все равно попадает в ад наравне с грешниками» (Д); Нина, «проститутская мамка», промышленная «тем, что поставляла дешевых мандавошек малообеспеченной части граждан. За вполне умеренную цену. Настолько умеренную, что иногда платой за отсос было просто несколько бутылок водки. Конечно, при таком раскладе и качество проститутки оставляло желать лучшего. Это были даже не проститутки, а просто шлюхи» (ЧМ); сосед Пашка Калина, «инвалид. У него редкое заболевание — «остеомиелит». Когда-то давно, много лет назад мусора прострелили ему ногу, и с этого все началось. Или не совсем с этого. Не важно. А потом он сидел. Много. И валялся маком. Тоже много. И еще произошло много чего. Но это уже, повторюсь, история не данного рассказа». (ПС).

В общем, никаких вам, дорогие читатели, униженных и оскорбленных, никаких Мармеладовых, — ни папы, ни дочки, — никакой милости к падшим. Если в первых рассказах автор еще пытается разглядеть в окружающих главного героя персонажах «что-то не чуждое себе, человеческое, дабы при общении хоть немного согреть их темные души», то с годами, проведенными рядом с такими темными душами, лишь морщится от отвращения, заключая: «Все мы аду, и в ад мы идем». А сами падшие, кажется, вполне довольны своим бытием, — ни протеста, ни возмущения, ни попыток социального переустройства жизни, ни желания как-то вырваться из болотного смрада. Алкоголики пьют, наркоманы колются, бомжи бомжуют. Мужчины. А женщины или составляют им компанию, или же предав тех, кто их любит чистой, но бедной любовью, и сплывая легкой тошноту, продаются «жирным франтам»: «У подъезда стояла большая красная иномарка. Я не разбираюсь в марках. Мне это не нужно. Для меня машина — она и есть машина. И ничего более. Солидный мужчина лет тридцати пяти — сорока и юная девушка как-то странно обнимались. Странно, потому что было непонятно, то ли он ей папа, то ли ебарь. Наверное, папик-ебарь. А она для него то ли рай, то ли подстилка, а скорее, райская подстилка. Девушка уворачивалась от поцелуев в рот, и он попадал ей то в лоб, то в щеку... но не в губы. Видимо, ротик она берегла для чего-то более серьезного и основательного» (Щ). Разложение общества в прозе Файзуллина становится нормой жизни. Снова пьют здесь, дерутся и плачут, как сто лет назад. То, что это ненормально, видит и ощущает лишь главный герой, к которому автор, впрочем, безжалостен точно так же, как и к другим персонажам.

В главном герое легко угадывается прототип писателя, пребывающий в своем родном мире, приметы которого для него хоть и отвратительны, но привычны и встают вокруг обыденными декорациями. Иногда, правда, как в рассказе «Черная машина», он пытается вести повествование от третьего лица, иронично вводя себя самого как вторичного персонажа из массовой культуры, но это ему удается откровенно плохо. Большинство рассказов Р. Файзуллина написано от первого лица, они явно имеют биографический подтекст, и зовут главного героя так же, как и его создателя: Рома,

Ромик Файзуллин — дерзкий, исполненный внутреннего трагизма и вечной неудовлетворенности собой и мирозданием молодой человек, если не альтер эго, то как минимум «проекция» автора. Он сам — главный герой своих текстов, что для молодого писателя абсолютно нормально, закономерно и типично. Нетипично то, что чаще всего главный герой (прототип, автопортрет) вызывает у автора даже большее омерзение, чем окружающие, часто напоминаящие уродцев Босха. В файзуллинском самоуничтожении нет аутсайдерского любования собственными недугами, провалами и отчаянием, — он искренне считает и как можно чаще подчеркивает, что он-то, возможно, еще хуже, сквернее и гаже Лехи, Радика, Юры, Паши Калины, проживающих свои «глупые жизни». Это отвращение прежде всего выражается в автопортретных зарисовках, откровенных до предела, грубо-натуралистичных до уродства:

- *«Я посмотрел в зеркало. На меня смотрело распухшее, с разбитым носом и тупыми глазами лицо. А вернее, морда. Я залез в ванную и встал под душ. Теплая вода смывала с меня хмельной смрад. Когда я сморкнулся, то увидел, как вместе с водой по мне стекают кусочки спекшейся крови».* (А);

- *«Я посмотрел на свое отражение в зеркале серванта. На меня смотрел обросший и опухший парень с невымытыми сальными локонами волос на голове. Полное чмо».* (ММ);

- *«Выглядел я, как полное говно. Ногами передвигал с трудом. Говорил тихо. Так я обессилел, уколотившись за сутки пять раз какой-то синтетической дрянью из черного квадрата. Мне можно было плевать в рожу, а я бы даже ничего не сказал. Овоц. У меня слишком слабая нервная система. И наркотик, которым я накачался, мне не подходил. Мне нужно было что-то более щадящее».* (Д).

Герой Файзуллина всегда находится в кризисе, у края жизни. По этому краю постоянно ходил и сам автор. Через героя — своего двойника — он отражает собственное трагическое и безысходное мироощущение. Мир алкоголя и наркотиков у Файзуллина совершенно лишен пелевинских попыток философичности или заливчатского абсурда походов торчков у Баяна Ширянова. В круговороте киряний-ширяний-вмазываний и торканий нет ни веселья, ни кайфа, ни облегчения, лишь непрерывное усиление болезненного состояния психики и нарастание напряженности страдания. Герой методично занимается самоистязанием, добиваясь распада физической своей оболочки. Я бы вообще порекомендовала министерству образования РФ издать прозу Романа Файзуллина отдельной книжечкой и включить в программу восьмого класса средней школы, но не по литературе, а по физической культуре и здоровому образу жизни: написано просто, читается легко и производит устрашающее впечатление на неокрепшие умы юных индивидов, склонных тащить в рот что ни попадя:

- *«Проснулся. Голова ватная. По-моему, еще и обоссался. Прекрасно. Скинул с себя мокрые штаны. Футболку. Она была в крови. Прошел в ванную. Хорошенечко приложился к горлышку крана. Холодная проточная вода. Как хорошо, когда она есть».* (А);

- *«На следующее утро он проснулся с ломотой и болью во всем теле. Дикая жажда. Осознание. Вина. Побег... Страх тонакатывал, то отступал. Сердце колотилось, как бешеное и не утиhalo. Бросало и в жар, и в холод. Тяжелое похмелье».*

Отходняк. На алкоголика в такой период особенно накатывает необъяснимый страх. Депрессия. Снятся дикие кошмары. Спать панически страшно. Отличить явь от сно-видения порой невозможно». (ЧМ);

• *«Я потянулся за банкой с водой на столе. Жадно глотнул. Там оказался спирт. Меня вывернуло прямо на ковер кислой желтой рвотой. Потом еще раз. И еще раз. На этом содержимое моего нутра иссякло. Я утерся рукавом. Закурил и отдышался. Затем, не без труда поднявшись, ощущая тяжесть и боль во всем теле, я маленькими шагами дряблого старика побрел в ванну. В ванной я первым делом хорошенечко присосался к крану и поссал серой мочой. Затем несколько раз плеснул себе в морду холодной воды. Утерся полотенцем. Ну и рожса... Уверен, при рождении я выглядел гораздо лучше. И чувствовал себя тоже». (ММПЗ);*

• *«Дома мне стало совсем плохо. Я замерил температуру. Она упала до тридцати пяти. <...> Правая рука у меня немела и не поднималась. Так у меня бывает. Это связано с нарушением сердечно-сосудистой системы. При моем образе жизнь такие проявления организма не удивительны. Вены болят. Тромбы, узлы. Тут хороши «Гепариновая» или «Тетрацеклиновая» мази. Но моим венам уже и это мало помогает. <...> Всю ночь сердце устраивало дикие гонки. Ноги скручивала судорога, дышать было тяжело. Я просто лежал и мечтал, что эта проклятая мышца, которая гоняет кровь по моим жилам, остановится сама собой. Но я выжил и теперь я пишу вам это». (Д).*

Однако прозу Файзуллина нельзя назвать наивно-реалистическим отражением примитивного уровня восприятия в соответствии с фактами окружающей действительности и собственным житейским опытом. Большинство персонажей его рассказов — живые и убедительные, за исключением тех «картонных» фигур, которые появляются в поздней повести «Винтер», где уже виден распад личности самого писателя. Нельзя сказать, что он просто описывал образ жизни, с которым был знаком изнутри личного опыта, воспроизводя его с целью знакомства читателя с экзотической для него действительностью больше по наитию: что вижу — о том и пою. Черпая щедрый жизненный материал, он переосмысливал его и претворял его в индивидуальные художественные модели жизни. Автобиографичность рассказов Файзуллина не только слепок с его персонального генезиса, но и черта поэтики — в тексте, как связующий компонент, обязательно присутствует внутренний монолог героя, кем и каким бы он ни был, его постоянные попытки осмыслить свое существование. Думаю, что как писатель Файзуллин осознанно или неосознанно ставил своей целью достучаться до читателя применением, если так можно сказать, шоковой литературной терапии: *«Я лишь хочу подчеркнуть, выворачивая из себя все самое грязное и низменное, низость человеческой природы. Вызвать у вас отвращение. Показать, что я такое же говно, как и вы. Но с одной значительной разницей: я себя за это распыл — а вы себя за это вознесли». (ММ).*

Как ни парадоксально, в текстах Романа Файзуллина явственно проступает сильное нравственное начало, несмотря на то, что описывает он дно, ниже которого скалиться, казалось бы, уже просто некуда, — «помойку жизни и отбросы общества». Кажется, что главный герой накачивает себя алкоголем и наркотиками именно для того, чтобы ночью или наутро пережить цикл очистительных страданий, в конце которых, как исход, поблескивает огонек смерти. Физические страдания в какой-то

мере помогаю заглушить страдания духовные, притупить понимание безысходности, которое время от времени все же прорывается: *«Это ад, весь этот конченный и прожженный, испепеляющий меня духовно смрад... Это все не мое, чужое. Пришедшее в меня откуда-то со стороны, извне. Это собственно и не я истинный с вами сейчас говорю, а подделка»*. (ЧМ). Задавить собственную душу, перешагнуть порог нравственности оказывается достаточно непросто, именно поэтому Файзуллина и одурманивает себя спиртом или феноталом, отбрасывая в сторону доводы здравого смысла и перелаывая собственную человечность. Он не уходит в мир иллюзий, не обманывает себя, он идет на физическое и нравственное саморазрушение сознательно, опускаясь все ниже и ниже в собственных глазах: *«Я выбрал этот путь. Путь сущности, которая умерла или продолжает идти к смерти. Я выбрал то, каким образом я умру. Я выбрал, как мне жить»*. (Д). Опять-таки точно в соответствии с другой песней Игоря Растеряева:

*Себе такую дорогу
Ребята выбрали сами,
Но все же кто-то, ей-Богу,
Их подтолкнул и подставил.*

*Чтоб ни работы, ни дома,
Чтобы пузырьки да рюмашки,
Чтобы вместо Васи и Ромы
Лишь васильки да ромашки.*

Мысль о смерти становится для автора своего рода отрадой, грядущим освобождением от бессмысленной и мучительной жизни. Смерть в понимании Файзуллина — это избавление от невыносимого трагизма бытия. В этом отношении Файзуллину близко высказывание Владимира Шарова из его последнего романа, прочитать который Роман не успел: *«Жизнь ведь не подарок, а наказание, она ад, гибель, другое дело смерть, в ней — покой, тишина»*. От героев самых крепких, «программных» рассказов Файзуллина «Моя могила — планета Земля», «Первый снег. Точка невозврата», «Две звезды», исходит нечеловеческая тоска, смертный холод свежесрытой могилы. Во всех текстах писателя текут потоки разрушительного Хаоса при полном отсутствии созидательного Космоса, в них «часто и густо пахнет смертью», смертью окончательной, полному уничтожению без всякой вероятности возрождения. Его герой жаждет провалиться в хтоническое подземелье и стать землей: *«Мне хотелось либо выпить еще, либо отключиться. Комы хотелось. Неведения. Забытья»*. (А); *«Следующие часа три я просто слонялся по городу. Мне хотелось курнуть, ширнуться, не важно чем: героин, мак, фенотал (крокодил)... Только бы хоть как-то отвлечь сознание и не чувствовать»*. (П).

Если когда-нибудь родные и друзья Романа насобирают денег и все-таки издадут его прозу отдельной книжечкой толщиной чуть больше ста страниц, то возможный, потенциальный, грядущий читатель сможет увидеть, что герой Файзуллина не кочует из рассказа в рассказ «законсервированным» разочарованным мизантропом и снобом, эдаким Печориным из наркопритона, трагически и романтически готовым «на все». Образ файзуллинского героя от рассказа к рассказу формируется, проходя персональный генезис и обретая окончательные черты к последним

рассказам. Самый успешный писатель российской современности, на взлет которого, уверена, зачарованно смотрят все студенты Литинститута, Захар Прилепин, справедливо пишет о том, что «прочитанные подряд (или все основные) вещи любого сочинителя позволяют увидеть не только текст, но и путь. Или несколько путей. Или путь в тупик, что не менее любопытно и познавательно. ...тексты так или иначе перекликаются друг с другом. ... бродят одни и те же призраки и гуляют одни и те же сквозняки. И если в одном тексте кричат и зовут на помощь, то в другом можно услышать если не ответ, то хотя бы эхо». Вглядевшись в эволюцию героя Романа Файзуллина, — от слабой и сырой повести «Черная машина» до крепкого, «мускулистого», наиболее значимого рассказа «Моя могила — планета Земля», — мы увидим, что этот молодой человек стал маргиналом вовсе не сразу: он предпринимал долгие попытки социальной адаптации, пытаясь в частности, честно трудиться продавцом в магазине спортивных товаров, и через некоторое время бросив данное занятие по причине неодолимого отвращения:

- *«10:45 утра. Сотрудники угрюмо совещаются. Я сижу в стороне. Пятнадцать минут до того, как весь этот мирок со всеми его мелкими системами и подсистемами начнет функционировать. Задребезжит. Загудит и поедет. Забегают, просыпаясь, консультанты от покупателя к товару. От кассы к складу. Из склада обратно к покупателю. И так много-много-много раз на протяжении всего дня. Будет им и обед. Будут им премии с бонусами. Будут и порицания начальства.*

За полгода работы я ни разу не получал премию и ни разу не был лучшим продавцом месяца. Я продаю исправно, но другие делают это еще лучше. Я не создан для этого. Торговля — это не мое. <...> Под конец от всех этих покупателей становится невыносимо. Они бесят. Их охота убить. Основная часть приходит в магазин, как в музей. А на тебя они смотрят, как на человека второго сорта. Конечно, ты же обслуга». (Д).

Мир продаж вызывает у Файзуллина не просто презрение, он отвергает его полностью и бесповоротно, видя в нем слепок с функционирования всей общественной машины в целом — машины, в котором побеждают лишь материальные корыстные стремления и нет места духовному взаимодействию людей:

- *«Я думал, нет людей глупее меня, оказывается, есть, и их не так мало. Пока они озабоченно обсуждают прошедший и будущий день, — приходы, ревизии, ценники и прочее, — я успеваю вспомнить всю свою жизнь. А что в ней собственно было? А ничего в ней было. В школе нас учили, что человек создан для счастья. Наглая ложь! Человек — это просто биомашина. Женщины — самки, им нужно размножаться. Мужчины — самцы, служат этим женщинам. Мир потребления, в котором даже любовь нужна людям, чтобы ее потреблять, а не хранить и нести через всю жизнь. А счастье совсем не обязательно. Миллионы людей живут без счастья. И без души. И ничего. И я тоже живу без этого. И, как видите, жив-здоров и в полном, как мне кажется, порядке. Хотя и в условном порядке. Весьма в условном». (Д).* Писатель одинаково безжалостен ко всем и вся, он — обвинитель не только нового российского общества, но и всего рода человеческого.

Еще одним разбитым идеалом и поверженным кумиром, подталкивающим файзуллинского героя к ядовитому нигилизму, оказывается любовь, о которой он так романтически вдохновенно писал в начальных вещах: «Любовь к женщине и вер-

ность ей – единственное, ради чего по-настоящему стоит жить. И этому надо быть верным всегда. Всю свою жизнь. И жить стоит только так и никак иначе, потому что жить как-то по-другому просто не имеет никакого смысла».

(Д). Согласитесь, в наш легковесный технологичный постмодернистский полувиртуальный век, когда среди молодых и старых, как говорится, в тренде «секс без обязательств» «построение отношений на основе взаимной выгоды», нечасто прочтешь столь трепетные проникновенные мысли, — просто комсомол шестидесятых годов какой-то, ей Богу, оттепель и весна на Заречной улице! Однако, как это и бывает, подобные прекраснодушные теории оказываются хрупкими, тонкими и разбиваются при первом столкновении с реальностью.

Выясняется, что девушки, ради которых *«раньше стрелялись на дуэли»*, трудно уживаются с бедными романтиками, легкомысленно увлекающимися употреблением горячительных напитков и психотропных веществ, предпочитая им более устойчивых и приземленных мужчин вроде Вовика, 35-летнего мужика, *«который держит несколько крупных магазинов в нашем городе»*. Вовики имеют связи с криминалом. Вовики неоднократно судимы, но девушек, ради которых раньше стрелялись на дуэли, это не смущает. Они нежно целуют на прощание своего бывшего романтика и уходят, на прощание сказав: *«Ты хороший любовник. У тебя умная голова и неплохая внешность. У тебя все получится»*. (Д). Ошалевший от горя романтик, разумеется, с удвоенной силой принимается употреблять горячительные напитки и психотропные вещества, лихорадочно пытаясь погрузиться в пучину разврата, но никак в этом не преуспевая по причине высокой нравственности и неизбывного романтизма. Выясняется, что физические отношения с женщинами для него невозможны без духовных, герою Файзуллина нужно непременно опозитизировать предмет своего влечения, без этого он чувствует себя грязно, пакостно, гадко, гадко: *«Лет пять назад я несколько раз оттрахал на берегу одну изумительную шалашовку. С тех пор стараюсь обходить это место. Не то чтобы я очень сентиментальный, просто неприятно. После блядей не остается ничего хорошего. Только выжженная земля и пустота»*. (МС). Сопоставляя свое понятие о любви как о высоком даре и вечной боли и жертве — с общепринятым, герой рассказов Р. Файзуллина с презрением смотрит на большинство людей, не имеющих понятия о настоящем чувстве и подменяющих любовь примитивными суррогатами. Ему претит двуличная мораль, допускающая измены и прикрывающая их видимым материальным благополучием.

Не найдя счастья ни в продажах, ни в любви, герой Файзуллина хаотично меняет целый ряд профессий, находя единственную отдушину в упражнениях изящной словесностью с тайной надеждой на признание и славу: *«Кем только не поработал он за это время: и грузчиком, и жестяником, и дворником и консультантом, и даже умудрился поработать на скотоферме свинопасом. Не долго. Один день»*. (ЧМ).



Дуля Раскольников. Художник Д. А. Шарин.

Год-другой-третий, а результаты все также неутешительны: *«Мне двадцать три года. Ни одной опубликованной книги, горы неграмотных стихов без всякого намека хоть на какой-то выход в свет. И ненависть. Ненависть, от которой не избавиться. Желание грызть горло того, чьего и лица-то я не видел. Да плевал я на все это!»* (П).

Напрасно. Напрасно российским мальчикам не объясняют в школе, что писательство занятие более экстремальное, чем скалолазание по горным вершинам в снежную бурю. Напрасно не заставляют их выводить в тетрадах по сто раз слова Ильи Эренбурга: «стихи — вздор, нужно взять себя в руки». Жаль, что школьников нынче не секут, — стоило бы, право, замеченных в марании бумаги мальчиков посечь, приговаривая: «Не пиши, не пиши, не пиши, поганец! Или уж если совсем неумогу, то пиши хотя бы не стихи, а фэнтези!» Напрасно и жаль, потому что не внемлющих сей истине юнцов, кидających с размаху в стихоплетство, как правило, в дальнейшем жестоко сечет сама жизнь. Потому что от писания стихов и ожидания славы при работе грузчиком и жестянщиком наступают разбитые иллюзии, душевные корчи и озлобленные нервные пароксизмы, как это и случилось с героем Романа Файзуллина.



Минаев В.Н. : Иллюстрация к роману
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Главному герою рассказов Романа Файзуллина (его двойнику) всего двадцать три года, — это, говоря словами классика, «человек еще молодой-с, так сказать, первой молодости». Отталкиваясь от литературной традиции, можно вспомнить другого двадцатитрехлетнего молодого человека, преисполненного такой же пылкой ненависти и высокомерного презрения к человечеству. Это Родион Раскольников — пожалуй, самый известный в мире после Анны Карениной русский литературный герой, который именно в двадцать три года засунул под мышку топор и отправился совершать самое главное дело своей молодой жизни, стремясь доказать всем, что имеет права, а не тварь дрожащая есть. «Обидно для молодого человека с достоинствами и с самолюбием непомерным знать, что были бы, например, всего только тысячи

три, и вся карьера, все будущее в его жизненной цели формируется иначе, а между тем нет этих трех тысяч. Прибавьте к этому раздражение... от яркого сознания... своего социального положения... Пуще же всего тщеславие, гордость и тщеславие, — доступно растолковывал Дунечке и остальным читателям причины, толкнувшие Раскольникова на убийство, его антипод Свидригайлов, человек циничный и умный. — Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек, — то есть был в том некоторое время уверен... Русские люди вообще широкие люди... широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности». Действительно, это беда. Во-первых, потому что никто не скажет тебе точно, гений ты или нет, и сам ты никогда не будешь в этом

до конца уверен, а во-вторых, оттого что молодых непризнанных гениев может начать воротить от всего мира, их не признавшего. Как это случилось сначала с героем Достоевского, Родионом Раскольниковым, как это случилось потом, через сто пятьдесят лет с героем Романа Файзуллина, с самим Романом. Мысли Родиона Раскольникова и мысли Романа Файзуллина о людях поразительно перекликаются. «Я тогда все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? <...> Вот они [люди] снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник по натуре своей; хуже того — идиоты! <...> О, как же я их всех ненавижу!» — думает Раскольников. *«По радио сквозь шипение говорили о приближающемся конце света. Но мой личный ужас наступил... Впрочем, это у них привычка такая — каждый год пугать народ концом света. И каждый год ничего не происходит. Ну, во всяком случае, многие продолжают жить, как и всегда. Никто не умирает. Ничего не случается. Мир остается прежним. Обманишки. Подонки. Лжецы. Пиздоболы»,* — думает герой Файзуллина. (Щ)

Как мы все хорошо помним, Родион Романович Раскольников жил в каморке, — бедной, маленькой, темной комнатке, не предназначенной для проживания человека, — которая потом часто называется шкафом или гробом. В этой каморке, шкафу, гробу, в отъединении от всего мира, он и вынашивал свою идею. Как и Раскольников, герой Файзуллина, «словно ножницами», перерезает связь с людьми, приходя работать в похоронную контору копателем могил, запирая себя в комнатушке, подобной той самой каморке, в которой вылеживал идею человекоубийства герой Достоевского: *«А сейчас я сижу в магазине. В небольшой комнатушке, посреди памятников и гробов. Кресты стоят, облокотившись о стену. Лица незнакомых мертвых людей пялятся на меня с гранитных плит. Иногда мне становится стыдно перед ними. Стыдно, потому что они умерли, а я живу. Но это чувство быстро проходит и сменяется каким-то странным, глухонемым весельем безысходности».* (МС).

Как и Раскольников, герой Файзуллина тайно мечтает о славе, остро переживает свой бесславный крах. Как и Раскольников, Файзуллин живет «в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию». Состояние Раскольникова на каторге, перед его «возрождением» созвучно состоянию героя Файзуллина, проснувшегося после очередной бессмысленной оргии в конце рассказа «Моя могила — планет Земля». Судите сами:

РАСКОЛЬНИКОВ:

«Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться перед “бессмыслицей”».

«Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз... готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего».

ФАЙЗУЛЛИН:

«Ох, как говно в голове кипит... Ох, как ясно видны мечты, поросшие вонючим мхом несбывшегося прогневшего ожидания. Но все-таки пока еще живые и весьма осязаемые жадной памятью».

Планета Земля — большая и глубокая могила для всех, кто хочет чего-то большего, чем просто биологическое существование. И могилу эту приходится рыть постоянно. Потому что другой работы нет. И не может быть».

Я не была знакома с Романом Файзуллиным лично, — мы лишь несколько раз переписывались по поводу предстоящей публикации, в силу чего мое мнение о его смерти является исключительно субъективным. Хочется верить, что через какое-то время его друзья, — а в друзьях у него было немало талантливых пишущих людей, — запишут свои воспоминания, сумев более жизненно отразить противоречия, погубившие этот «несчастный характер». Мне же как человеку, прочитавшему все законченные прозаические тексты писателя Р. Файзуллина, более того, человеку, видевшему эти тексты в первоизданном виде, более того, непосредственно их редактировавшему, — мне думается, что к своей смерти Роман пришел примерно точно так же, как Раскольников пришел к идее убийства от стремления осмелиться, сделать что-то такое, на что неспособны тупые бездарные обыватели мира потребления, такое, что разом избавило бы от жизненных разочарований и творческих неудач, а также завершило марафон бессмысленно-чудовищных пьяных или наркотических оргий: «сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя!» К житнетворчеству Романа Файзуллина можно вполне приложить слова Ф.М. Достоевского о главном герое «Преступления и наказания»: «В его образе выражается... мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу».

Чтобы не возникло недопониманий, хочу выделить свою мысль. Я сравниваю Файзуллина не с Достоевским. Половина рассказов Романа Файзуллина и его повести недоработаны, сыры, слабы, требуют редактуры и правки, хотя даже за этой «сыростью» явно виден писательский талант, — при достаточном образовании, упорстве и определенной доле иронии по отношению к жизни он развился бы в хорошего прозаика, но... «иным быть он не мог. Никто не может быть иным, а до конца пребывает тем, кто он есть». Повторяю, я сравниваю. Романа Файзуллина не с Достоевским, а героем Достоевского — Родионом Раскольниковым. Оба этих молодых человека по схожим причинам оказались захвачены в плен губительной идеей: Раскольников — об убийстве, а Файзуллин о самоубийстве. К ним обоим применимы рассуждения следователя Порфирия Порфиьевича: «дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое».

В текстах Файзуллина регулярно мелькают имена признанных писателей, к которым он относится трепетно, почти как к близким друзьям: Камю, Кафка, Герман Гессе, Пелевин, Буковски. Тем не менее, на мой взгляд, стилистически проза Файзуллина ориентирована на манеру Довлатова. Роман пишет по-довлатовски как бы предельно просто и доступно. Однако именно подобным нарочитым отсутствием эмоций достигается высокий психологизм произведения. Его рассказы читаются легко и остаются в памяти умело подмеченными, точными и яркими деталями; Роман был явно наделен природной способностью рассказывать о чем-нибудь виденном и пережитом связно, просто, кратко, связно, намечая самые существенные черты и создавая достаточно пластические образы без пафоса, надуманной страсти, громких слов, вычурных и банальных сравнений и эпитетов. Истории Файзуллина подчеркнуто нарративны: он словно ведет разговор по душам, открывая читателю (собеседнику) всю подноготную жизни своего героя. Бесстрастные натуралистические описания сменяются прямым обращением к читателю, словно автор с читателем сидят в одном купе поезда и вместе едут куда-то далеко-далеко, ночь впереди длинная, и можно все рассказать без утайки: *«На самом деле мне и не особо-то хотелось*

сношаться с ней. То есть хотелось, но не мне, а моему телу. Ну, знаете, как это бывает – когда тело хочет одного, а лично ты совсем другого. И становится крайне мерзко и отвратительно. Уверен – вам это знакомо. Ведь все мы люди. Разве не так?» (ММ).

До конца не уверенный в своей художественной силе, Роман боязливо избегает сравнений, эпитетов, метафор: их можно по пальцам пересчитать, буквально один-два на рассказ, но все они, безусловно, удачны, употреблены к месту, а за счет своей редкости особенно пронзительны, словно с их помощью автор разбивает предсказуемость жизни, показывая ее многомерность: *замученный доживанием, а правильное будет сказать «дожесыванием» жизни пенсионер; бриллиантовая тишина; предрассветное состояние; теплое спокойствие; темное и сырое, поразительно плотное по ощущениям чувство скорби.*

Удивительно сильное и яркое впечатление на читателя производят строки об утраченном счастье, которые автор вплетает в ткань рассказа: зарисовка о любви. К герою, умеющему чувствовать столь глубоко и искренне, читатель проникается невольной симпатией, несмотря на внутреннее отторжение его образа жизни. И в этом тоже проявляется многомерность жизни и сила художественного слова. В признаниях главного героя нет идеализации, напыщенности, вычурности и надуманной страсти:

• *«Опять жизнь. И опять я болею. Не только из-за Тебя. Все в той или иной мере причиняет мне страдание. Хотя, конечно, превалирующий источник боли здесь, если трусливо отбросить меня самого, – это Ты. Я любил Тебя, когда пил и кололся. Любил, когда сходил с ума. Любил, когда умирал. Любил, когда обливал грязью, ненавидел и называл шлюхой. И теперь, прощаясь с тобой навсегда, я тоже люблю Тебя. <...> Светает. Я смотрю на пролетающие деревья вдоль дороги. На остановки. Тени. Одиноко стоящие машины. Ни одного человека. Это мне нравится. Сердце. болит. Я думаю о Тебе. Ничего конкретного. Просто Ты. Всегда и везде. Я могу плохо о тебе думать. Могу плохо Тебя видеть. В тумане и грязи. В полумраке. В обморочном состоянии. В бреду. Но Ты всегда где-то рядом. Ты во мне неотвратима. Я к этому привык. А правильное будет сказать – свыкся».* (ДЗ).

Отдельно стоит сказать о животных — в творчестве Романа Файзуллина им отведена особая роль, это существа чрезвычайно для него важные и значимые. Бездомный пес, «возможно... для меня даже важнее, чем я для него», — признается герой Романа Файзуллина. К кошкам и союакам он относится поистине как к братьям меньшим, давая им не имена, а клички: персидский кот Вадик, щенок алабая Валера, болонка Сонечка, безымянный бездомный пес, которого герой Файзуллина называет братом. К собакам он относится куда лучше, чем к людям. Трогательная история «собачули» — болоночки Сонечки разворачивается на фоне рассказа о тупой механистичной жизни героя, в которой живых друзей замещены виртуальными знакомыми в социальных сетях, любовь заменена мастурбацией под просмотр порноролика в Интернете («И это было чудовищно и невыносимо, словно вся моя жизнь, помещенная в крошечную капсулу изврата». (МС)), живые люди заменены портретами умерших на памятниках в комнатухе «похоронки». На этом мертвенном фоне история накормленной и пристроенной в добрые руки «собачки» выглядит единственным отрадным пятном, лучиком добра, возможностью жизни:

• «Прошла неделя. И вторая. И месяц. Я продавал. Консультировал. Хоронил и копал. И всегда на похоронах, я видел что-то новое. Вроде бы то же самое, но новое...

А Сонечка тем временем окрепла и расцвела. И превратилась в настоящую красавицу. Окраса она белого, с большим черным пятном на спине. Мордочка и голова, включая большие уши, симметрично обведены серым цветом. Со снимков на меня смотрела необычайно добрыми, но между тем и грустными глазами превосходная, ухоженная, маленькая собачка. Девушка, которая занималась ею, решила оставить ее себе, что было просто замечательно. И то, что я ее заметил и сумел повлиять на ее судьбу, было, пожалуй, самым лучшим, что я сделал за время работы в похоронке». (МС).

Именно за такую бесхитростную искренность и трогательность автору прощаешь определенную долю неумелости: рассказы Файзуллина не открывают перед читателем каких-то новых горних высот, с которых на мир можно посмотреть просветленным взглядом, там нет глубоких обобщений и оригинальных идей, но этому нехитрому повествованию просто веришь — как человеку, который плачет. Читатель всегда хочет кому-нибудь сострадать, и Файзуллин как писатель дает ему такую возможность.

После публикации рассказов Романа Файзуллина в «Иных берегах Vieraat rannat» я получила в свой адрес немало критики за то, что напечатала эти тексты без купюр, не выкинув из них ни одного нецензурного слова и не заменив их эвфемизмами. Использование данного пласта лексики, действительно, представляет собой один из самых активных художественных приемов в файзуллинской стилистике. Возможно, в этом был явный элемент бравады, бунтарства против фальши и лицемерия в обществе, противопоставления своего героя (символа искренности) миру продаж (символу лживости); возможно, называя измену девушки самым грубым площадным глаголом, Роман выражал собственную отношение абсолютной безжалостности к подобного рода предательству. Скорей всего, это так — поэтому я и не стала цензурировать текст и заменять слова звездочками. Однако в дополнении к этим доводам, мне хочется процитировать рассуждения все того же Федора Михайловича Достоевского, его мысли по поводу неискоренимого русского сквернословия, опубликованные в «Дневнике писателя» в 1875 году. Достоевский рассуждает о сквернословии пьяного русского человека, и это очень интересно именно по отношению к рассказам Романа Файзуллина, ибо файзуллинский герой (двойник) практически перманентно пребывает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Итак: «Пьяному, — утверждал Достоевский, — и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что совершенно не мог не явиться, и если б его вовсе не было — il faudrait d'inventer¹⁶. Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что во хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто название одного нелексиконного существительного...» Сосредотачиваясь

¹⁶ Его стоило бы придумать (фр.).

на психологии и социологии «сквернословного языка», Достоевский описывает свои наблюдения над общением подвыпившего «простого народа»: «Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного... Вот один парень резко и энергично произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем у них раньше речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать! И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом... Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав решение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподымая руку, кричит... Эврика, вы думаете, нашел, нашел, нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это «не показалось», и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Статья эта, которая с современных позиций может расцениваться как блестящая попытка социо- и психолингвистического исследования и анализа прагматических коннотаций нецензурной лексики, в свое время вызвала большую шумиху и критику: писателя обвиняли в легкомыслии и потакании низменным вкусам, так что Достоевскому пришлось написать своего рода опровержение в следующей заметке того же цикла. «Мысль моя, — объяснял писатель, — была доказать целомудренность народа русского, указать, что народ наш... если и сквернословит, то делает это не из любви к скверному слову, не из удовольствия сквернословить... народ наш целомудрен, даже и сквернослова... Я имею дерзость утверждать, что эстетические и умственно развитые слои нашего общества несравненно развратнее в этом смысле нашего грубого и столь неразвитого народа». Разумеется, «догадкой» Достоевского о любви русского народа к «словам кратким, условным и выразительным» в наше время никого не шокируешь и не удивишь. Однако тонко подмеченная Ф.М. Достоевским свойственная русским людям целомудренность заложена в произведениях Романа Файзуллина: ненормативные выражения в лексическом поле его текстов — словно сигналы sos, свидетельствующие о ловушке отчаяния и безысходности, в которой, как в капкане, бьется душа главного героя, за ними остро чувствуется его физическая разбитость и моральная опустошенность, расколотость сознания и предопределенность трагического исхода.

Судьба Романа Файзуллина являет собой, к самому горькому сожалению, довольно типичный пример последствий экономической стагнации и расползания

социальных язв современной российской действительности: от вырождения и деградации небольших провинциальных городов, как, в данном случае, Стерлитамак, в котором Роман родился и умер, до пагубной доступности лекарственных средств в российских аптеках, где тот же самый трамал продается без рецепта. Однако, помимо этого, его судьба—отражение той «раскольниковской» болезненной гордости, разросшейся на ощущении безграничной покинутости, одиночества среди людей, мысли о своей исключительности, избранности и разрушительной ненависти к несправедливости общественного устройства. Именно эта гордость (а точнее, гордыня) толкает людей к преступлению: от топора к петле, против другого или против себя. Решившись на убийство старухи-процентщицы и засунув топор под мышку, Раскольников всерьез думал, что он, с одной стороны, удивит и накажет мир, победит его, с другой же стороны—спасет себя, своих близких от унижительного существования. Думаю, что и Романом Файзуллиным двигали примерно такие же мотивы, когда он накидывал петлю себе на шею. Но если Достоевский даровал своему герою возможность возрождения, то Роман Файзуллин от этой возможности отказался бесповоротно, так что его жизнь и творческий потенциал, в сухом итоге, сводятся к нескольким глаголам с отрицательной частицей не и приставкой до-: не дожил, не дописал, не дошел, недостиг. И это лишь еще одна в длинном списке прочих трагическая история о бедной заблудшей душе, не вынесшей противоречий бытия человеческого.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

- А — «Алкогольное»: «Крещатик», 2012, № 1.
Д — «Долг»: «Ликбез», 2011, № 78.
ДЗ — «Две звезды»: «Иные берега», 2015, № 2 (19).
ММ — «Моя могила — планета Земля»: «Иные берега», 2015, № 2 (19).
МС — «Маршрут смерти»: Новая реальность», 2015, № 71.
П — «Поезд»: «Ликбез», 2010, № 73.
ПС — «Первый снег. Точка невозврата»: «Иные берега», 2015, № 2 (19).
ЧМ — «Черная машина»: «Ликбез», 2010, № 71.
Щ — «Щенок»: «Иные берега», 2015, № 2 (19).



Наталья Редозубова

Natalia Redozubova

Счастливый билет
(рецензия на книгу
стихотворений *Нины Гейдэ*
«Билет на Титаник»)

Родилась и живет в Туле. Окончила филологический факультет Тульского педагогического института и факультет психологии Академии психологии, предпринимательства и менеджмента (Санкт-Петербург). Работала библиотекарем, учителем русского языка и литературы. Является художественным руководителем Литературного театра; занимается журналистикой, пишет стихи, сценарии, рецензии. Член правления Тульского Общества русской словесности, член клуба православных писателей «Родник» и творческой группы развития искусства и кинематографии «Преображение», литературный редактор документальных фильмов «Тяжелые времена тяжелого рока» и «Западный Пелопоннес: из пещер к небесам», «Важно, что буду там...».

Публиковалась в журналах «Контрабанда» (Москва), «Иные берега *Vieraat rannat*» (Хельсинки), альманахе «Рукопись» (Ростов-на-Дону), межрегиональном литературно-художественном журнале «Приокские зори», хрестоматии «Три века тульской поэзии» и др. Победитель Второго открытого литературного конкурса «Преображение» в номинации «Поэзия» (Тула).

У поэта *Нины Гейдэ* вышла очередная книга, приглашающая читателей к прочтению, странствию по ее лирическим страницам. Так корабль выходит из защищенной гавани, исследует уровни океана, рассекает волны, движется в открытое пространство, пренебрегая опасностью.

«Присказка про счастье»

В сборнике – ранние стихи. Первые – те самые, из клетчатых тетрадок. Зачем же автор вновь обращается к ним? Вероятно, для того, чтобы не только окунуться в пору юности, настроиться на ее волну, но и вернуться к истокам поэзии вообще – к той непосредственности восприятия бытия, которая может быть только у юного горячего сердца.

Здесь старый дом, в котором тщета рифмуется со счастьем; сон и явь; забытье, счастливое и зыбкое одновременно. Встречи, свидания; единение, событие, имеющее свойства исключительного, идеального:

*Там проживалась жизнь –
какой и быть должна:
безудержна, легка, нерасторжима
с тобой одним... Но у подножья сна
меня реальность зорко сторожила.
(«Мне сон дарован был – меня он
возносил...»)*

В сферу же реального быстро вносятся диссонанс – незначительный, абсурдный, но властный, очень скоро заполняющий собой все вокруг. И ему необходимо подчиниться:

*Так расстаемся мы с тобой.
Так то ли спяну, то ли сдуру –
романы жгут, берут топор –
крушить прекрасную скульптуру...
(«Дорога взорвана – оставь...»)*

Разрыв мучителен, но неизбежен: это входит в романтическую концепцию мировосприятия. Трудно, невозможно другое: вычесть, стереть осуществленное вдвоем из сознания и подсознания. Конечно, будут иные пути и иная – возможно, более зрелая любовь. Но предположить это на пике чувства – значит поставить под сомнение его истинность. И если уж умирать от любви – то до конца, по-настоящему. Это максимализм юности:

*Одарило полным неводом
боли – пью утра утрат.
Улыбаюсь: дальше некуда
ни страдать, ни умирать.
(«Одарило полным неводом...»)*

С утратой любви рушится Вселенная. Созвездие «нежность» становится «слепой девочкой с птенцом», потом же – туманом, канувшим «в беспорядочный

шелест лет». Крушение надежд равносильно крушению мира: «на топку мачты пойдут, Ассоль...» Такое возможно только в пору влюбленности. В непознанном, но родственном силой и глубиной океане бытия перед встречей с айсбергом – предательством, разлукой, фальшью. Оттого и Титаник.

«Счастливейшие недра слепоты»

Ранняя лирика уже сложившегося, зрелого поэта интересна своими истоками, недрами – теми смысловыми акцентами и художественными приемами, которые впоследствии станут основой лингвокультурного и психосемантического арсенала автора. В творчестве Нины Гейдэ изначально заданы важнейшие координаты: жизнь, смерть, бытие, душа, любовь, счастье, боль, правда, ложь. Эти универсальные величины в процессе работы со словом переплавляются в индивидуальные. Прежде всего – посредством ярких запоминающихся образов, метафор, ассоциативных переключек: «только пасечник-память жалобно пчел на скошенные поля отсылает еще...», «быль мою в руке зажал, как былинку...», «как орел, склевала мне сердце память...», «и бытие мое кренится, как бригантина...», «твои признания – как вербы вдруг распутившаяся нежность...», «все одну и ту же любовь толочь продолжаю в каменной ступе дней...», «ночей бестрепетных зачес – булавкою луна...», «и царственным жестом мгновение вновь в ладони Вселенной берет...»

Уже здесь появляются образы, ставшие значимыми в зрелой гейдэвской лирике: «Гордиев узел веков», «привитая оспа безлюбья», «мантия боли», неизбежная «в бескрайней нелюбови снежной». Но они еще на периферии, правят же бал наваждение («Мы знали все. Мы

ждали тайн. / Мы наважденьям пели гимны») и страсть («Жизнь без страсти – полузабытье»). Неподкупная и никому не подвластная страсть мыслится автором как антитеза обывательской усредненности, благоразумию, житейскому благополучию, где нет места для «самозванки-любви», легко сбегающей от всего материального:

*Радугой небесный шелк распорот.
Выпорхнув легко из клетки слов,
снова всех сумела переспорить
самозванка юная – любовь.*
(«Ничего не названо – и значит...»)

«Палитра счастья»

Любовь всегда, отчасти, наваждение. А где наваждение, там и миф как элемент надматериального и вечного. Мифология в системе образов Нины Гейдэ неслучайна и органична: Галатее и Пигмалион, Троянский конь, кастальские воды, озеро Светлояр, скрывающее затонувший Китеж, голубь, ставший сфинксом – все о том же: об открытии и постижении женской стихии, творческом перевоплощении, горящих плодах земных чувств, которые канут в Лету.

В раннем творчестве совершается апробирование, дифференциация, ранжирование понятий, нахождение «для мира иных названий»; притяжение-зачисление в судьбу того, а не иного, предсказание, предопределение, поэтическая ворожба.

*Я тебе погадаю сейчас, в январе,
на сентябрь: там разлука-волчица
поджидает, оскалась, у наших
дверей –
и, конечно, должно не сложиться.*
(«Кто сказал, что сегодня январь на дворе...»)

Героиня верит в вечную любовь и, в то же время, готова к потерям и разочарованиям. Главное для нее – сохранить свою женскую и поэтическую суть и в последнее мгновение вывести себя, «как лошадь племенную из пожара» – «из несбывшейся любви». После кораблекрушения ей опять нужен «улов наваждений, устремленных ввысь», ее притягивает «неукротимый ураган ласк». Эрос, преображенный возвышенным поэтическим видением автора, выступает как один из источников вдохновения. Страсть и эрос – единомышленники в бегстве от реальности, безучастной к живому чувству, которое «мудрей расхожих фраз»:

*Текли как реки руки, замер дом,
и ночь все поняла, не шла на убыль.
Слова мы оставляли на потом,
слов не было, но были губы, губы...*
(«Когда после разлуки в жизнь
длинной...»)

В поэтическом сборнике запечатлена та счастливая пора жизни, «где души еще так много сил – вправлять несовпадений переломы»; избыток энергии, «палитра счастья», противопоставленная «бесцветным будням», взгляд «сквозь цветное стекло» любви, потребность и необходимость чувственного опыта – ненадежного в его разнообразных проявлениях:

*Опаивай нас счастьем
безудержности, страсть!
Пред миром безучастным
играй: дари и трать!
.....
Неприбранный, зевотный
пусть завтра будет день.
Сыграй на мне – сегодня.
Задень струну, задень!
(«Сыграй в меня сегодня»)*

Свое призвание автор видит в том, чтобы «осьминогом любви постигать заколдованный мир»:

*Я с теми, кто копит
не золото – загады,
с кем звездные кони
встречают закаты,

кто жизнь проживает
не в бункерах зданий,
кто дни прошивает
словами признаний...
(«Я с теми, кто копит...»)*

Лирическая героиня увлеченно и настойчиво творит собственное пространство – «Галактику мига», где «в круг любовного света душа влетает – обжигать судьбу, обжигать крыла...».

«Нить стихотворная души»

Конечно, берущий в руки перо не может избежать поэтических влияний. В раннем творчестве Нины Гейдэ можно отметить сопереключку образов и ритма стихотворений автора и ее великих предшественниц: М. Цветаевой, А. Ахматовой. Но в данном случае речь идет не столько о подражании, сколько о родственности душ: о цветаевских «жаре души», инаковости, об ахматовских «простоте и мудрости», стремлении к гармонии. Это как высокая проба в поэзии. Так, лирическая героиня «Билета на Титаник», побывавшая на высотах заоблачной любви – там, где «страсть нова, как новогодний шар», в конечном итоге, признается:

*Всю жизнь по чужим зрачкам
кралась – нет зеркал кривей.
Всю жизнь отдала речам
и гулу чужих кровей.
(«Всю жизнь по чужим зрачкам...»)*

И, подтверждая цветаевское знание о том, что «есть в мире черные стада, / другой пастух» – говорит о себе:

*Я – волчица в садах.
Я – в одном экземпляре бестселлер
о наивной овце с черным
пятнышком – в белых стадах...
(«Я устала от дня...»)*

Несмотря на тягу к постижению мира страстного, чувственного, Нина Гейдэ достаточно рано учится жить «смирненно, чинно». В книге «Билет на «Титаник»» отчетливо просматриваются как яркая дань романтизму, так и его преодоление. Это движение к реализму, как и становление, и утверждение себя, – смелость говорить о любви и ее ударах, воспевать боль и свое поражение, но при этом, все-таки, не терять своего лица – драгоценны и свидетельствуют о личностной и поэтической самобытности автора, о нахождении своего пути:

*Я выхожу из дома: хрипло лает
соседская собака – наползают
угрюмо сумерки. И, право же, –
не лето.

Но свет луны мне кажется залогом
того, что я однажды помудрею
и научусь смиренной акварелью
довольствоваться, коли нет гуаши,
а холст судьбы – уж хочешь иль
не хочешь,
необходимо чем-нибудь заполнить
(в ходу обычно бытовые сценки)...
(«А мне февраль сегодня
объявляет...»)*

Для чего же даны страсти, бездны, терзания? Ответ Нины Гейдэ неожиданно прост и не вписывается в рамки как возвышенного, так и обыденного: «для того, чтобы писались стихи».

Сердце продиктует нужную строку – ту, которую невозможно не написать, ту, которая является посланницей огромного счастья или боли:

*Нет у боли названья – немая
осень снова дождями дни мает.
Я так горько тебя обнимаю,
будто кто-то тебя отнимает...
(«Нет у боли названья – немая...»)*

Только глубинное чувство способно найти, предугадать единственно верную форму – интонацию и звучание, которые завораживают в этом стихотворении: не о боли, а о немой нежности, окутывающей любимого, заполняющей все пространство собой, защищающей – и о пронзительной любви. Здесь в полную силу явлены столь ощутимая в дальнейшем творчестве звукопись стиха Нины Гейдэ и ее голос, неповторимый поэтический тембр.

Путешествуя по страницам поэтического сборника, нередко ловишь себя на том, что в стихах легко и сама собой запоминается их мелодическая основа – та, что прежде слов – мотив. Он-то создает, в первую очередь, настроение, которое пребывает с читателем после того, как кончается строка. Это происходит, вероятно, оттого, что поэтом, настроенным на высокую волну Мироздания, достигнута одна из главных целей творчества: отражена некая изначальная гармония.

«Там счастье – единая мера вещей»

И бранные, и вечные законы нуждаются в индивидуальном познании, личном открытии. Личности для личности, поэта – для читателя. Книга уникальна вдохновенным запечатлением «на заре туманной юности» полноты бытия и единения с ним посредством любви

и поэтического дара. Появление такого свидетельства в наше прагматичное время удивительно, но неслучайно. Ведь счастье – не беспросветная удача, не бесконечный успех, не достижение конечного, ограниченного. Это способность души ощущать себя частью Вселенной и в самих испытаниях – столкновениях с айсбергами – обретать «свою участь»: преображаться:

*Когда еще в жизнь удастся вонзиться
стрелой, как в оленя, бегущего прочь,
когда еще нужно с любовью возиться,
как с малым ребенком, весь день и всю ночь,*

*Когда еще можно легко возноситься
к успеху из точки паденья любой –
Всесильная юность – по звездам возница –
ведет Мирозданье на свой водопой...*

*(«Когда еще в жизнь удастся
вонзиться...»)*

«Билет на Титаник» у Нины Гейдэ – счастливый. В этом не возникает сомнения по прочтении книги. Впрочем, убедитесь сами.



Léon Bakst: Costume design for the ballet The Firebird, (1913).

КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ
MEIDÄN JÄSENIEN KIRJOJA



Нина Гейдэ. «Билет на «Титаник».

Москва: «Белый ветер», 2016. – 184 стр.

Художественное оформление и иллюстрации:
Виктория Матисон.

ISBN: 987-5-905714-83-2

В новой книге стихотворений Нины Гейдэ «Билет на «Титаник» собраны ранние произведения автора, посвященные вечным темам любви, разлуки, поиска своего экзистенциального кредо, творческого постижения бытия. Стремительное движение по синусоиде между счастьем и страданием, яркие путешествия в Галактике мига, который длится порой дольше века,

философская подсветка привычных явлений – таков расходящийся в бесконечность круг лирических тем этого поэтического сборника.

Как пишет Нина Гейдэ в предисловии к своей книге, «образ «Титаника» – многоуровневый, многоролевой. Это не только символ любви, которая так часто разбивается об айсберг. Наша молодость – тоже «Титаник», который в океане жизни рано или поздно сталкивается с глыбой льда – разочарованиями зрелости. Но ведь были и спасшиеся с того корабля. Не каждая любовь обречена. И не всегда наша молодость исчезает бесследно. И пусть это будет уже вторая молодость – с горчинкой мудрости, с льдинкой самоиронии, но так хочется верить, что она остается с нами навсегда. Как остаются с нами стихи, любовь, тайны бытия...»



Галия Мавлютова.

«Крещенский вечерок».

Санкт-Петербург: Алетейя, 2016.

Роман порадует читателей необычным сюжетом. Главная героиня запуталась между трех сосен – женихов много, а любимого среди них нет. Как прожить жизнь без любви? Алена Лялина мучается, ищет и решает проблему выбора между «красным и черным»: любовь или существование ради вымышленного чувства долга? Читателя ждет неполная сотня страниц увлекательного любовного романа, в котором так до конца и не ясно, будет ли хэппи энд?..